

Гюнтер Грасс Траектория краба

Гюнтер Грасс Траектория краба

In memoriam

1

«Почему лишь сейчас, а не раньше?» – спрашивает Другой, не я. Да потому что мать вечно твердила... Потому что, когда над водой разнесся вопль, я хотел закричать, но не мог... Потому что для правды хватает и трех строк ... Потому что лишь теперь...

Пока слова идут трудно. Но Другой не принимает никаких отговорок, взывая к моему профессионализму. Что ж, в молодости я, действительно, был шустрым писакой, работал в одной из газет концерна «Шпрингер»¹, потом заложил крутой вираж и вновь стал гнать строчки, но теперь уже против «Шпрингера», оказавшись в левой газете «taz»², еще позднее перешел на скупой телеграфный стиль, работая поденщиком для информационных агентств, долгое время оставался на вольных хлебах, занимался тем, что препарировал свежатину, то бишь информационные сообщения. Ежедневные новости. Последние известия.

Пусть так, соглашаюсь я. Ничему иному, как говорится, не обучен. Но если уж придется распространяться на собственный счет, то получится, будто все перекосы моей биографии объясняются исключительно гибелью корабля, на который мать попала тогда на последнем сроке беременности, да и вообще живу я лишь по чистой случайности.

Словом, вновь я исполняю взятый подряд, но все-таки для начала позволю себе отвлечься от моей скромной персоны, ибо история началась задолго до моего рождения, больше века тому назад, а именно в мекленбургской столице, то есть в Шверине, что расположился меж семи озер со своим достопримечательным районом Шельфштадт и известным по почтовым открыткам многобашенным замком, причем сам город более или менее благополучно пережил последние войны, по крайней мере внешне.

Поначалу я полагал, что это позабытое временем провинциальное захолустье вряд ли может заинтересовать кого-либо, кроме некоторых туристов, однако внезапно исходный пункт моего повествования ожил в Интернете. Некий аноним разместил на своей странице множество биографических данных об одном человеке – от календарных дат и названий улиц до школьных отметок, будто решил вскрыть информационные залежи для подобных мне любителей покопаться в краеведческом старье.

Компьютер с модемом я приобрел практически сразу же, когда эти штуковины появились в продаже. Моя профессия предполагает использование информации, странствующей по всему свету. Худо-бедно освоил свой «Макинтош». Вскоре такие понятия, как «браузер» или «гиперлинк», перестали мне казаться китайской грамотой. С помощью

1

2

кликания скачивал сообщения, которые потом шли в дело или выбрасывались в мусорную корзину, иногда под настроение или от скуки посещал чаты, возмущенно реагировал на какое-нибудь идиотское замечание, пару раз заглянул на порно-сайты, пока наконец после бесцельных скитаний не наткнулся случайно на домашние страницы тех, кого называют «вечно вчерашними», хотя были здесь и свежее испеченные неонацисты, исполненные тупой ненависти. Неожиданно, задав для поиска в качестве ключевого слова название того самого корабля, я обнаружил нужный мне адрес Мученика – www.blutzeuge.de³ «Соратничество Шверин» выдавало готическим шрифтом злобные пропагандистские тексты. Сплошь запоздалый реваншизм. Отвратительно до смешного.

Теперь стало ясно, кого считают Мучеником. Непонятно, однако, следует ли, как нас тому учили, изложить все по порядку – сначала одно, затем другое, последовательно пересказать биографию за биографией, или же лучше выбрать траекторию повествования, пролегающую как бы поперек хронологической оси, чтобы получилось нечто вроде того, как ползает краб, который, оттопырив клешни в сторону, имитирует задний ход, но на самом деле весьма бойко продвигается вперед. Так или иначе, ясно одно: стихия, а точнее Балтийское море, решила здесь все более полувека назад по-своему. Аминь.

Первым на очереди пусть будет персонаж, памятник которому был разрушен. Закончив школу и получив аттестат зрелости, он поступил учеником в банк, где без особого блеска приобрел профессиональное образование. Интернет об этом умалчивал. Зато на сервере, специально посвященном Вильгельму Густлоффу, который родился в 1895 году в Шверине, он объявлялся Мучеником. Здесь не сообщалось, например, о заболевании гортани, а также о хронической болезни легких, которая помешала ему проявить свою доблесть на полях Первой мировой войны. В то время как Хансу Касторпу было суждено покинуть Волшебную гору по воле автора романа, чтобы уйти добровольцем на войну и на последней странице романа погибнуть во Фландрии или раствориться в литературной неопределенности, Шверинский банк, занимавшийся преимущественно страхованием жизни, отправил в 1917 году своего прилежного ученика в Швейцарию, где тому предстояло подлечить свои хворобы и где воздух Давоса оказался настолько целителен, что причиной смерти его послужили совершенно иные обстоятельства; во всяком случае, вернуться в Шверин, с его нижнегерманским климатом, он не спешил.

Поначалу Вильгельм Густлофф устроился ассистентом в обсерваторию. Как только это исследовательское учреждение приобрело статус федерального научного центра, он стал его ученым секретарем, которому, впрочем, хватало времени и на то, чтобы подрабатывать в качестве агента акционерного общества, страховавшего домашнее имущество; таким образом ему удалось наряду с исполнением основных служебных обязанностей познакомиться в ходе побочной деятельности со всеми швейцарскими кантонами. Не меньшее усердие проявляла и его супруга Хедвиг: приверженность националистическим идеям не помешала ей занять место секретарши в адвокатской конторе Мозеса Зильберрота.

До этих пор супружеская чета Густлофф являла собою образец бюргерских добродетелей, однако, как это обнаружится позднее, она лишь создавала видимость, будто целиком восприняла присущую швейцарцам практичность; поначалу втихомолку, а затем вполне открыто ученый секретарь обсерватории, пользуясь долготерпением своего работодателя, не без успеха пустил в ход врожденные и недюжинные организаторские способности: вступив в Партию, он на вербовал туда среди живущих в Швейцарии граждан Германии и Австрии пять тысяч новых членов, которых свел в образованные по всем кантонам местные отделения и заставил присягнуть тому, кому провидение уготовило роль Вождя.

Сам он получил звание ландесгруппенляйтера от Грегора Штрассера, который отвечал в Партии за организационные вопросы. Штрассер, принадлежавший к левому крылу, отказался в 1932 году от всех своих постов, протестуя против сближения Вождя с крупной буржуазией,

а спустя два года он был ликвидирован собственными же людьми при подавлении путча, якобы организованного Рёмом; его брат Отто спасся бегством за границу. Пришлось Густлоффу искать себе новый объект для поклонения.

Реагируя на запрос, поступивший в Малый совет кантона Граубюнден, представитель иммиграционной полиции спросил Густлоффа, насколько его партийная деятельность в качестве ландесгруппенляйтера НСДАП согласуется с проживанием на суверенной швейцарской территории; последний ответил: «Больше всего на свете я люблю жену и мать. Однако если Вождь прикажет убить их, я подчинюсь приказу».

В Сети эта цитата оспаривалась. В чате «Соратничества Шверин» утверждалось, что, дескать, подобные лживые измышления распространялись еврейским автором Эмилем Людвигом. На самом же деле Мученик продолжал оставаться под влиянием Грегора Штрассера. Мол, Густлофф всегда отдавал в своих убеждениях приоритет социалистическому элементу перед национальным. Вскоре в чате разгорелись межфракционные схватки. Виртуальная ночь длинных ножей⁴ возжаждала крови.

Однако затем всем заинтересованным пользователям Интернета напомнили об исторической дате, которая якобы доказывала влияние провидения. То, что я объяснял себе случайным совпадением, возносило Густлоффа в сферы действия надмирных сил: 30 января 1945 года, спустя ровно полвека после рождения Мученика, начал свою гибель корабль, названный его именем, и в этот же день двенадцатью годами ранее пришли к власти нацисты, что послужило предвестием всеобщей катастрофы.

Вот она, эта дата, словно высеченная клинописью в граните. Проклятая дата, с которой все началось, убийственно нарастало, достигло апогея, покатило к своему концу. Благодаря матери мой день рождения также пришелся на эту дату продолжающегося несчастья; сама же мать живет по собственному календарю, не веря ни случайностям, ни тому подобным универсальным объяснениям всего и вся.

«Вот еще! – восклицает та, кого я никогда не именовал собственнически „моей“, но всегда просто – „матерью“. – В честь кого бы тот корабль ни окрестили, все равно бы утоп. Хотела бы я знать, о чем думал тот русский, который приказал пустить три торпеды прямехонько на нас...»

Она ворчит до сих пор, будто не утекло с того времени столько воды. Тягучий диалект, фразы будто расплющены стиральным валиком. Картошку называет бульбой, творог – сырком, а треску под горчичным соусом – вахней. Родители матери Август и Эрн Покрифке были родом из Кошнадерской земли, а потому прозывались кошнаверами. Сама же она выросла в Лангфуре. Это еще не Данциг, а его вытянувшееся в длину и уходящее в поля предместье, одна из улиц которого была Эльзенштрассе; Лангфур для девочки Урсулы, по прозвищу Тулла, был столь велик, что в рассказах матери «о старых временах» хоть и упоминались нередко купания на ближайшем морском пляже и катания на санках в лесу за южной окраиной предместья, однако гораздо чаще мать увлекала слушателей во двор доходного дома на Эльзенштрассе 19, а оттуда мимо собачьей будки с сидящим на цепи Харрасом в столярную мастерскую, шумовой фон которой определялся визгом дисковой и ленточной пилы, шорохом строгального станка и гудом шлифовальной машины. «Совсем еще девчонкой была, но уж когда клей варили, мне приходилось его в котле размешивать». Из-за чего, как гласят семейные предания, где бы Тулла ни стояла, ни лежала, ни бегала или ни пряталась в укромном уголке, всюду сопровождал ее легендарный дух столярного клея.

Словом, неудивительно, что, попав после войны в Шверин, мать обучилась в тамошнем Шельфштадте столярному делу. Будучи «переселенкой», как это называлось в Восточной Германии, она сразу получила место ученицы у считавшегося старожилом мастера, имевшего сарай с четырьмя строгальными станками и постоянно булькающим котлом для столярного клея. Отсюда было рукой подать до Лемштрассе, где нам с матерью выделили хибарку, крытую толем. Если бы после той катастрофы нас высадили на берег не в Кольберге, тем

более если бы миноносец «Лёве» доставил бы нас до Травемюнде или до Киля, то на Западе мать попала бы под категорию «восточных беженцев» и ее тоже определили бы ученицей в столярку. Таким образом, я говорю о случайности, мать же с первых дней нашей эвакуации в назначенное место твердит о том, что таков был перст судьбы.

«А когда у того русского, что был капитаном подводной лодки, день рождения-то? Ты ведь дотошный, всегда все знаешь.»

Нет, в отличие от Вильгельма Густлоффа, сведений на этот счет в Сети обнаружить не удалось. Нашелся только год рождения да еще некоторые факты и домыслы, которые в журналистских расследованиях используются в качестве так называемого фонового материала.

Александр Маринеско родился в 1913 году на Черном море, в портовом городе Одессе, которая, если верить черно-белым кадрам фильма «Броненосец 'Потемкин'», отличалась своей красотой. Мать его была родом с Украины. Отец был румыном, в первом паспорте он еще значился как Маринеску, но потом был смертный приговор военного суда за мятеж и чудесное спасение бегством в последнюю минуту.

Его сын Александр вырос в припортовом квартале. Одессу населяли русские, украинцы и румыны, греки и болгары, турки и армяне, цыгане и евреи, которые вполне уживались вместе, поэтому говорил он на эдакой смеси разных языков, но, похоже, в подростковой банде его неплохо понимали. Хотя позднее он старался говорить по-русски правильно, ему никак не удавалось до конца очистить свой южный с украинским налетом говор от вкраплений из идиш и позаимствованных у отца румынских ругательств. Над этим продолжали подшучивать даже тогда, когда он уже дослужился до старшего матроса в торговом флоте. Впрочем, с течением времени количество смельчаков, которые отваживались на шутки, заметно поубавилось, как бы чудно ни звучали порою приказы, отдаваемые командиром подводной лодки.

Откроем ленту на многие годы назад: семилетнему Александру, наверное, довелось увидеть, как от пирсов отчаливали последние транспорты белогвардейцев и как спешно покидали Одессу британские и французские интервенты. За этим последовал приход красных. Начались чистки. Потом гражданская война практически закончилась. А спустя несколько лет в порту вновь появились иностранные пароходы с нарядными пассажирами, швырявшими за борт монетки, а подросший мальчишка, сначала благодаря собственной выносливости, к которой постепенно добавлялось мастерство, ухитрялся вылавливать их.

Но наше трио пока неполно. Не хватает еще одного персонажа. Его поступок запустил в движение череду событий, у которой обнаружилась собственная безудержная динамика. Поскольку он, вольно или невольно, превратил одного из троих, уроженца Шверина, в Мученика национал-социалистической идеи, а другого, одесского парнишку, в героя Краснознаменного Балтфлота, то место на скамье подсудимых обеспечено ему навечно. Именно такие или схожие обвинения в его адрес прочитал я, испытывая все большее любопытство, на уже упомянутом сервере в Интернете под рубрикой «Еврей-убийца».

Как мне теперь известно, агитационная брошюра, написанная членом Партии и одним из ее главных трибунов Вольфгангом Диверге и выпущенная в 1936 году мюнхенским издательством «Франц Эер-ферлаг», называлась не столь прямолинейно. Однако, руководствуясь логикой безумия, «Соратничество Шверин» отважилось даже на большее, чем позволял себе Диверге: «Если бы не этот еврей, то на маршруте, очищенном от мин вблизи Штольпмюнде, никогда не произошла бы самая крупная в истории морская катастрофа. Этот еврей... По вине этого еврея...»

Среди перепалки, которая велась в чате отчасти на немецком, отчасти на английском языке, можно было выудить и несколько фактов. Так, один из чаттеров сообщал, что вскоре после начала войны Диверге руководил имперской радиостанцией Данцига, другой располагал сведениями о его послевоенной деятельности: дескать, объединившись с другими

нацистскими шишками, например со ставшим позднее депутатом Бундестага от СвДПП Ахенбахом, он проник в партийную организацию либералов земли Северный Рейн—Вестфалия. Третий добавлял, что бывший нацистский пропагандист на протяжении семидесятих годов занимался в рейнском Нойвиде отмыванием финансовых средств, которые шли на поддержку СвДПП. Наконец, в забитом до отказа чате роилось множество вопросов о давосском стрелке, на которые тут же давались убийственные ответы.

Будучи на четыре года старше Маринеско и на четырнадцать лет моложе Густлоффа, сын раввина Давид Франкфуртер родился в 1909 году в словенском городе Дарувар. В семье говорили на иврите и на немецком, в школе Давид научился говорить и писать по-сербски, однако испытал на себе повседневную ненависть к евреям. Здесь можно только предположить, что он вряд ли сумел справиться с этим обстоятельством: хлипкое телосложение не позволяло ему дать физический отпор, а ловкое приспособленчество было противно его натуре.

Вильгельма Густлоффа объединяло с Давидом Франкфуртером лишь следующее: если первый имел слабые легкие, то второй с детства страдал хроническим воспалением костного мозга. Однако Густлофф сумел избавиться в Давосе от своего недуга и стал позднее вполне здоровым партийным активистом, а вот что касается больного Давида, то ему врачи помочь не сумели: пять проведенных операций оказались безуспешными, сам случай объявлен безнадежным.

Вероятно, заболевание началось еще во время учебы Давида на медицинском факультете; семья решила, что учеба должна проходить в Германии, поскольку там учился отец, а еще ранее его отец. Есть сведения, что из-за своей болезненности и трудностей с концентрацией внимания Давид провалил экзамены после пятого семестра, как и последующие экзамены. Впрочем, судя по информации в Сети, партийный пропагандист Диверге в отличие от другого, уже процитированного автора Эмиля Людвиг (его Диверге всегда упоминал в сочетании псевдонима с настоящей еврейской фамилией – Людвиг-Кон), утверждал: Еврей Франкфуртер характеризовался не только слабостью здоровья, но и тем, что кланчил деньги у отца-раввина, лентяйничал, прогуливал занятия, был щеголем и к тому же заядлым курильщиком.

Но вот наступил год прихода нацистов к власти с его треклятой знаменательной датой, недавно отмечавшейся в Сети. Заядлому курильщику Давиду довелось стать во Франкфуртена-Майне свидетелем того, что напрямую касалось его и других студентов. Он видел, как сжигались книги еврейских авторов. Над столом в его учебной лаборатории вдруг появилась звезда Давида. Он физически чувствовал адресованную ему ненависть. Его, как и других студентов-евреев, громогласно поносили те, кто причислял себя к арийской расе. С этим он смириться не мог. Это было просто невыносимо. Он бежал в Швейцарию, продолжил учебу в казавшемся безопасным Берне, где снова проваливал один экзамен за другим. Однако родителям он продолжал отправлять вполне оптимистичные, а то и веселые весточки, чтобы успокоить отца, не перестававшего высылать деньги. Учебу он прервал лишь год спустя, когда умерла мать. Возможно, в поисках поддержки у родни он рискнул еще раз съездить в Германию, где ему пришлось увидеть, как его дядю, который был, как и отец, раввином, таскал за рыжую бороду молодой человек, приговаривая: «У-у-у, жидовская морда!»

Примерно так описана эта сцена в литературно-документальной книге Эмиля Людвиг «Убийство в Давосе», выпущенной этим популярным писателем в 1936 году в амстердамском эмигрантском издательстве «Кверидо». «Соратничество Шверин» опротестовывало на своем сервере данное описание, ссылаясь опять-таки на партийного пропагандиста Диверге, поскольку тот приводил в своем памфлете выдержки из протокола берлинского полицейского, который в свое время допрашивал раввина д-ра Соломона Франкфуртера: «Не соответствует действительности утверждение, будто молодой человек подросткового возраста таскал меня за бороду (имеющую, кстати, не рыжий, а черный цвет), приговаривая при этом: „У-у-у, жидовская морда!“»

Я не сумел установить, оказывалось ли в полиции давление при допросе, состоявшемся спустя два года после описанного и подвергнутого сомнению инцидента. Так или иначе, Давид Франкфуртер вернулся в Берн; похоже, он испытывал тяжелую депрессию, на что имелось немало причин. Во-первых, вновь началась учеба, по-прежнему безуспешная, а во-вторых, он весьма переживал смерть матери, что усугубляло его непрекращающиеся физические страдания. Кроме того, берлинский эпизод производил на него все более гнетущее впечатление по мере того, как из швейцарских и иностранных газет ему становились известны сообщения о концентрационных лагерях в Ораниенбурге, Дахау и иных местах.

В конце 1935 года ему пришла в голову мысль о самоубийстве, которая с тех пор не оставляла его. Позднее, уже в ходе судебного процесса, в экспертном заключении, предоставленном защитой, говорилось: «Под воздействием внутренних душевных мотивов личного свойства для Франкфуртера возникла психологически невыносимая ситуация, которая требовала своего разрешения. Депрессия привела к мысли о самоубийстве. Однако присущий каждому человеку инстинкт самосохранения отвел выстрел от себя и перенацелил его на другую жертву.»

На этот счет в Интернете язвительных комментариев не обнаружилось. Тем не менее во мне крепло подозрение, что за адресом www.blutzeuge.de скрывается не оголтелая когорта бритоголовых парней из «Соратничества Шверин», а некий дошлый одиночка. Один из тех, кто следует не по накатанной колее, кто выбирает малохоженные тропы, предпочитает траекторию краба или, подобно ищейке, ведет поиск, принохаясь к меткам, оставленным Историей.

Нерадивый студент? Ведь я и сам числился таковым, когда германистика мне жутко прискучила, а теория журналистики, которую преподавали в Институте имени Отто Зура, казалась слишком сухой.

Покинув Шверин и сбежав на городской электричке из Восточного Берлина в Западный, я поначалу, как и обещал матери, пытался относиться к учебе всерьез, усердствовал, будто последний зубрила. Тогда, незадолго до строительства Стены, мне было шестнадцать с половиной годков, и я, что называется, глотнул воздуха свободы. Приютила меня тетя Йенни, школьная подруга матери, с которой они, судя по их рассказам, пережили уйму невероятных историй; тетя Йенни жила в западноберлинском районе Шмаргендорф, неподалеку от площади Розенэк. Мне досталась мансардная комнатуха с чердачным окном. Неплохое, собственно, было времечко.

Мансарда тети Йенни на Карлсбадерштрассе выглядела как кукольный домик. На столиках, консолях красовались фарфоровые фигурки. Преимущественно балерины в пачках, вспорхнувшие на пуанты. Некоторые в весьма смелых позах, все с маленькими головками на длинных шейках. В молодости тетя Йенни была довольно известной балериной, пока во время одной из бомбардировок, которые все больше и больше разрушали имперскую столицу, ей не искалечило ноги, поэтому, подавая мне к полднику чай, она заметно хромала, что не мешало ей грациозными движениями предлагать мне вазочки с печеньем или сладостями. Похожая на хрупкие фигурки в своей игрушечной мансарде, она вертела головкой на тонкой, теперь уже исхудавшей шейке, а с ее лица не сходила улыбка, которая казалась примерзшей к нему. Тетю Йенни действительно частенько знобило, поэтому она пила горячую лимонную воду.

Мне нравилось жить у нее. Она баловала меня. Каждый раз, когда она заговаривала о своей школьной подруге – «Моя дорогая Тулла передала мне тайком очередное письмецо...», – я испытывал минутное искушение почувствовать симпатию к собственной матери, этой упрямой чертовке, которая, однако, тут же вновь начинала мне действовать на нервы. Доставляемые секретными путями из Шверина на Карлсбадерштрассе «малявы», плотно исписанные бисерными буквами, содержали призывы, приобретающие с помощью подчеркиваний безусловно категорический характер; этими призывами мать, по ее

собственному признанию, стремилась «допечь» меня: «Надо ему учиться и учиться! Ведь для чего я послала сыночка на Запад – чтобы из него толк вышел, вот для чего...»

У меня до сих пор звучат в ушах ее слова: «Я и живу-то только для того, чтобы сынок мой когда-нибудь все бы засвидетельствовал». А поскольку тетя Йенни служила рупором для своей школьной подруги, то тихим, но весьма настойчивым голосом она делала мне соответствующие внушения. После чего не оставалось ничего другого, как прилежно учиться.

В ту пору вместе с ордой моих сверстников, также бежавших из ГДР, я учился в старших классах. Нам приходилось наверстывать многое из того, что касалось правового государства и демократии. К английскому языку добавился французский, зато отпал русский. Начал я соображать и насчет того, как, благодаря управляемой безработице, функционирует капиталистическая экономика. Учеником я был не блестящим, однако с тем, чего от меня хотела мать, справился, то есть получил аттестат зрелости.

Да и насчет девочек, кстати, я был неплох, к тому же не бедствовал, поскольку мать, благословив меня на бегство к классовому противнику, дала мне с собой адресок в Западной Германии: «Думаю, отец это твой. Мне кузеном доводится. Обрюхатил меня перед самым призывом в армию. По крайней мере, он так считает. Черкни ему про свое житье, когда там окажешься...»

Сравнения хромают. Но что касается финансов, то вскоре дела мои пошли так же, как у Давида Франкфуртера в Берне, которому отец ежемесячно посылал издали кругленькие суммы на счет в швейцарском банке. Кузена матери, да будет земля ему пухом, звали Харри Либенау; он был сыном хозяина столярной мастерской, существовавшей некогда на все той же Эльзенштрассе; с конца пятидесятых годов Харри Либенау проживал среди лесов Шварцвальда, в Баден-Бадене, где в качестве редактора отдела культуры Юго-западного радио он выпускал ночную программу «Лирика за полночь», которую слушали, пожалуй, только сосны дремучего Шварцвальда.

Мне не хотелось слишком обременять тетю Йенни, которая подкидывала мне деньги, поэтому я сочинил любезное письмо, в конце которого сразу за финальной фразой «Твой неизвестный Тебе сын» отчетливо указал номер собственного банковского счета. Судя по всему, Харри Либенау был счастлив в браке, так что ответа я не дождался, зато каждый месяц начал получать переводы с суммой, которая была значительно выше минимальной ставки алиментов, целых две сотни марок, по тем временам солидные деньги. Тетя Йенни об этом не знала, но с Харри, кузеном матери, была знакома, хотя и не слишком близко, о чем она, слегка покраснев своим кукольным личиком, не столько поведала, сколько как бы призналась.

В начале шестидесят седьмого, вскоре после того, как я ушел от тети Йенни и поселился в районе Кройцберг, учебу я бросил и устроился стажером в газету «Моргенпост» концерна Шпрингер, тогда же денежные переводы прекратились. С тех пор я моему папочке-филантропу ничего не писал, разве что посылал к Рождеству поздравительную открытку. Да и зачем? К тому же мать в одной из тайных «маяв» намекнула: «Особенно-то его не благодари. Он сам знает, за что раскошеливается...»

Писать в открытую она тогда уже не могла, поскольку возглавила бригаду столяров на народной мебельной фабрике, производившей в плановом порядке спальные гарнитуры. Будучи членом партии, она не имела права поддерживать контакты с Западом, тем более с сыном, который бежал из ГДР и работал на капиталистическую пропаганду, публикуя вначале коротенькие заметки, а потом и большие статьи о коммунизме, отгородившемся Стеной и колючей проволокой; у нее и без того хватало из-за меня проблем.

Предполагаю, что кузен матери перестал мне платить, потому что вместо учебы я начал писать для желтой шпрингеровской газетенки. Пожалуй, этот вшивый либерал был по-своему прав. Кстати, вскоре после покушения на Руди Дучке⁵ ушел от Шпрингера. С тех пор моя ориентация сделалась довольно-таки левой. Событий было хоть отбавляй, я писал для

многих более или менее прогрессивных изданий, поэтому неплохо держался на плаву даже без тех переводов с суммами, что бывали втрое выше минимальной ставки алиментов. Все равно господин Либенау не был моим отцом. Мать просто подставила его. От нее же я узнал, что этот редактор ночных программ в конце семидесятых, еще до моей женитьбы, умер от сердечного приступа. Ему, ровеснику матери, было тогда немногим больше пятидесяти.

Взамен я получил от матери еще несколько имен; каждый из этих мужчин, по ее словам, мог быть моим отцом. Одного из них звали Йоахимом или Йохеном, другого, постарше, якобы отравившего пса Харраса, – Вальтером.

Нет, настоящего отца мне не досталось. Только взаимозаменяемые фантомы. В этом отношении у трех персонажей, которые фигурируют в повествовании, дела обстояли лучше. Словом, мать сама толком не знала, кто ее обрухатил, когда январским днем сорок пятого года она вместе с родителями вошла в качестве одной из семи с лишним тысяч пассажиров на борт парохода с причала в Готенхафене-Оксхёфте. Тот, чьим именем был назван пароход, мог предъявить отца-коммерсанта – Германна Густлоффа. Тот же, кому удалось потопить переполненный людьми пароход, водился в отрочестве с блатными, за это папаша Маринеско частенько лупил его, что служило свидетельством отеческой заботы. А Давид Франкфуртер, отправившийся из Берна в Давос и повинный в том, что пароход был назван в честь Мученика, даже имел отца, который был настоящим раввином. Я же, безотцовщина, в конце концов сам стал отцом.

Что он, интересно, курил? Круглые сигареты марки «Юно»? Или плоские арабские? А может, сигареты с золотым ободком, модные в ту пору? Во всяком случае фотографий, запечатлевших его курящим, не сохранилось, если не считать единственного газетного снимка, сделанного позднее, в конце шестидесятых, когда ему наконец разрешили короткий визит в Швейцарию – на этом снимке пожилой господин, чиновничья карьера которого подходит к завершению, держит сигарету. А тогда он курил одну сигарету за другой, поэтому и сел в купе для курящих, когда воспользовался услугами Швейцарской федеральной железной дороги.

Они оба ехали поездом. В то же время, когда Давид Франкфуртер направлялся из Берна в Давос, Вильгельм Густлофф совершал вояж, занимаясь организационными делами. В ходе командировки он проинспектировал ряд местных отделений зарубежной организации НСДАП, а также создал несколько новых отрядов гитлерюгенд и Союза немецких девушек⁶. Командировка состоялась в конце января, поэтому, вероятно, в Берне и Цюрихе, Гларусе и Цуге он выступил перед находившимися там гражданами Германии и Австрии с пламенными речами по случаю трехлетнего юбилея со дня захвата власти. Годом ранее его работодатель, то есть обсерватория, уволил Густлоффа по настоятельному требованию социал-демократических депутатов, так что свободного времени у него было предостаточно. Его агитационная деятельность сопровождалась протестами некоторых кругов швейцарской общественности – в левых газетах его даже именовали «давосским диктатором», а член Национального совета Брингольф потребовал его высылки из страны, – однако в кантоне Граубюнден да и во всей Швейцарии нашлось достаточно политиков и чиновников, которые оказывали Густлоффу поддержку, причем не только финансовую. Городские власти Давоса регулярно поставляли ему информацию о людях, прибывших на курорт, а он выбирал из них граждан Германии и, пока шел курс лечения, даже не приглашал, а вызывал на партийные мероприятия; неявка без уважительных причин фиксировалась, фамилии сообщались соответствующим инстанциям Рейха.

Примерно в то время, когда студент-курильщик, купивший в Берне билет лишь в один конец, совершал поездку по железной дороге, а будущий Мученик вел активную партработу, старший матрос Александр Маринеско уже перешел с торгового флота на Краснознаменный Черноморский военный флот, где после учебки и штурманских курсов попал на подлодку. Он был комсомольцем и уже тогда обнаружил склонность к спиртному, впрочем, эта слабость с

лихвой искупалась служебным рвением; по крайней мере на борту его с бутылкой никогда не видели. Вскоре Маринеско был определен штурманом на подлодку Щ-306; эта недавно вставшая в строй ПЛ наскочила в начале войны, когда Маринеско уже служил на другой подлодке, на мину и затонула со всем экипажем.

Итак, путешествие из Берна через Цюрих мимо нескольких озер. Партийный пропагандист Диверге, указавший в своем памфлете маршрут студента-медика, поспешил на описание пейзажей. Впрочем, заядлый курильщик, студент тринадцатого семестра, вряд ли обращал большое внимание на разворачивающиеся панорамы с грядками гор на горизонте, на проносящиеся мимо и покрытые снегом дома, деревья и горные склоны, на смены тьмы и света, возникающие при проскакивании туннелей.

Эту поездку Давид Франкфуртер осуществил 31 января 1936 года. Он читал газету и курил. В разделе «Разное» публиковалось сообщение о деятельности ландесгруппенляйтера Густлоффа. Газеты за это число, среди них «Нойе цюрихер цайтунг» и «Базлер националь-цайтунг», писали о текущих событиях или предвосхищали события грядущие. В начале этого года, вошедшего в историю как год Берлинской олимпиады, фашистская Италия еще не одержала победу над далекой империей Негуса Абиссинией, Испания чувствовала угрозу гражданской войны. В Германии строились автострады, а матери, жившей в Лангфуре, стукнуло восемь с половиной годков. Позапрошлым летом, купаясь в водах Балтики, утонул ее глухонемой брат Конрад. Мать очень любила его, а потому спустя сорок шесть лет этим именем крестили моего сына, которого, однако, все зовут Конни; так же обращается к нему в своих письмах и его подруга Роза.

Диверге указывает, что 3 февраля ландесгруппенляйтер вернулся довольно усталым после весьма успешной поездки по кантонам. Франкфуртер знал – в этот день Густлофф будет в Давосе. Кроме газет Франкфуртер регулярно читал и издаваемый Густлоффом партийный журнал «Рейхсдойче», в котором сообщались календарные сроки планируемых мероприятий. Давид разведal о своей жертве практически все. Он пропитался этой информацией, как был насквозь пропитан никотином. Интересно, было ли ему известно, что год назад чета Густлоффов построила на свои сбережения в Шверине кирпичный дом и предусмотрительно обставила его на случай возвращения в Германию? Что они очень хотели завести ребенка?

Когда студент-медик прибыл в Давос, там выпал снег. Снег сиял на солнце, и курорт выглядел именно так, каким он бывает запечатлен на видовых открытках. Франкфуртер приехал без багажа, но с твердыми намерениями. Из «Базлер националь-цайтунг» он вырезал газетную фотографию с Густлоффом в партийной форме: высокий мужчина, решительный взгляд, высокий лоб, чему способствовало облысение.

Франкфуртер снял номер в отеле «Лев». Пришлось ждать целый день до 4 февраля. Этот день называется «Ки-Тов» и считается приносящим счастье – информация, которую я выудил в Интернете. На уже известном мне сервере дата была объявлена днем памяти Мученика.

Вышел покурить на солнышко. Каждый шаг отдавался скрипом на снегу. По понедельникам проводился экскурсионный осмотр города. Фланировал по Курпроменаду. Присоединился к кучке зрителей, которая наблюдала за хоккейным матчем. Поболтал с несколькими курортниками. Надо ртами витал морозный парок. Главное, не вызывать подозрения. Не сказать ничего лишнего. Не суетиться. Все было спланировано и подготовлено. Револьвер удалось купить безо всяких проблем, потренировался на стрельбище Остермундинген под Берном. Несмотря на болезнь, рука была твердой, не дрожала.

Во вторник, оказавшись на месте действия, он воспользовался указателем «Вильгельм Густлофф – НСДАП». Стрелка вела от Курпроменада к улице Ам курпарк, где находился дом №3. Голубой особняк с плоской крышей, на водостоках висели сосульки. Несколько уличных фонарей сражались с опускающимися сумерками. Снегопад прекратился.

Таковы внешние рамки события. Другие подробности несущественны. О том, что произошло дальше, могли свидетельствовать только сам преступник и вдова убитого. Интерьер соответствующей части квартиры можно было увидеть на упомянутом сервере, где иллюстрацию сопровождал весьма эмоциональный текст. Судя по всему, фотографию сделали вскоре после происшествия, так как на столах и на комодѣ стояли еще свежие букеты, но большой цветочный горшок призван был придать помещению мемориальный вид.

Дверь на звонок открыла Хедвиг Густлофф. По данным ее позднее показаниям, глаза у молодого человека были добрыми; он попросил аудиенции у ландесгруппенляйтера. Тот стоял в коридоре, беседуя по телефону со своим однопартийцем доктором Хаберманом, руководителем организации в Туне. Проходившему мимо Франкфуртеру послышались слова «еврейские свиньи», однако госпожа Густлофф оспорила это в своих показаниях. Дескать, ее супруг избегал подобных выражений, хотя и считал решение еврейского вопроса делом безотлагательным.

Проведя посетителя в кабинет, она предложила ему присесть. Ни тени подозрения. Визитеры частенько появлялись без предварительного согласования, нередко это бывали однопартийцы, у которых возникали какие-либо проблемы.

В пальто и со шляпой на коленях студент-медик, сидя в кресле, разглядывал письменный стол, на котором стояли часы в деревянном футляре, над столом висел почетный кинжал СА. Выше и по бокам кинжала расположились несколько фотографий Вождя и рейхсканцлера, как бы служа черно-белым и цветным декоративным оформлением интерьера. Фотографии духовного наставника Грегора Штрассера, убитого два года назад, вроде бы не было. Неподалеку красовалась модель парусника – вероятно, «Горх Фок».

Далее скусающий посетитель мог увидеть на комодѣ возле письменного стола радиоприемник, а рядом бюст Вождя, то ли бронзовый, то ли гипсовый, но выкрашенный под бронзу. Очевидно, цветы на письменном столе стояли еще до выстрелов; этими цветами госпожа Густлофф любовно украсила рабочее место, чтобы порадовать супруга, вернувшегося после утомительной командировки, к тому же ей хотелось напомнить ему о недавнем дне рождения.

На столе среди всякой всячины было небрежно разложено множество бумаг – вероятно, отчеты кантональных организаций, наверняка партийная переписка с важными инстанциями Рейха, а возможно, тут были и письма с угрозами, которые за последнее время приходили по почте все чаще; впрочем, от защиты со стороны полиции Густлофф отказывался.

Он вошел в кабинет без супруги. Подтянутый, вполне здоровый, поскольку уже несколько лет как излечился от туберкулеза, одетый в гражданское, он шагнул к посетителю, который не поднялся навстречу, а выстрелил прямо с кресла, едва выхватив револьвер из кармана зимнего пальто. Меткие выстрелы оставили в груди, шее и голове ландесгруппенляйтера четыре отверстия. Он беззвучно рухнул возле помещенного в раму портрета своего Вождя. Тут же в кабинете появилась супруга, вначале она увидела направленный на нее револьвер, а потом простертого на полу мужа, бросилась к нему, а у того из ран хлынула кровь.

Давид Франкфуртер, пассажир с билетом в один конец, надел шляпу и без всяких помех со стороны переполошившихся жильцов вышел из дома, места своего преступления, после чего бродил некоторое время по заснеженным окрестностям, несколько раз поскользнулся, вспомнил телефон для сообщения о чрезвычайных происшествиях, позвонил из ближайшей будки, назвавшись преступником, затем нашел, наконец, дежурный участок кантональной полиции и сдался.

Нижеследующую фразу он сказал вначале для протокола дежурному полицейскому, а позднее повторил ее без изменений в суде: «Я стрелял, потому что являюсь евреем. Я в полной мере сознаю тяжесть содеянного, но ничуть не раскаиваюсь.»

В связи с этим событием было израсходовано много типографской краски. То, что у Вольфганга Диверге именуется «трусливым убийством», сравнивается у романиста Эмиля Людвига с «битвой Давида и Голиафа». Столь полярные оценки дошли и до наших дней с их

всемирной Паутиной. Герою библейского склада, решившего призвать собственным – пусть излишне просто обоснованным – поступком к сопротивлению свой несчастный народ, здесь противостоит Мученик национал– социалистического движения. Обоим отводилось место на скрижалях истории в качестве выдающихся личностей. Стрелявший, впрочем, был вскоре повергнут в забвение; даже когда мать была ребенком и откликалась на имя Тулла, она ничего не слышала ни об убийстве, ни об убийце, разве только легенды о белом лайнере, на борту которого счастливые люди плавали в короткие и дальние путешествия, устраиваемые организацией «Сила через радость».

2

В ту пору, когда я был нерадивым студентом, мне довелось слышать в Техническом университете лекции профессора Хёллерера. Своим пронзительным птичьим голосом он приводил в восторг битком набитую аудиторию. Речь шла о Клейсте, Граббе, Бюхнере, то есть о гонимых гениях. Одна из лекций называлась «Между классикой и модерном». Мне нравилось бывать в подвальчике «Вайцкеллер» среди молодых литераторов и еще более молодых представительниц книжной торговли, где читались, обсуждались, а иногда и раскритиковывались в пух и прах еще не дописанные произведения. Однажды я даже записался на курсы, которые проводились на Кармерштрассе по американскому образцу под названием *creative writing*. Здесь занималась добрая дюжина подающих надежды талантов. По мнению одного из преподавателей, предложившего нам, неофитам, тему «телефона доверия» для эпического наброска, моих дарований было явно недостаточно. Их, дескать, хватило бы разве что на бульварный роман. Теперь же он внезапно извлек меня из забвения: мол, биография моей никудышной персоны довольно уникальна, но вместе с тем характерна, а потому заслуживает литературного повествования.

Некоторых из тогдашних талантов уже нет в живых. Двое-трое добились известности. Мой бывший преподаватель, похоже, исписался, иначе не подрядил бы меня на работу и не стал бы моим Заказчиком. Однако мне надоело продвигаться по траектории краба. Слишком канителью, сказал я Заказчику, овчинка выделки не стоит. Оба психи, что один, что другой. Один возомнил себя героем, который жертвует собой, чтобы дать своему народу пример мужественного сопротивления. Может, то убийство изменило для евреев что-нибудь к лучшему? Наоборот! Террор был узаконен. А через два с половиной года, когда еврей Гершель Грюншпан застрелил в Париже дипломата Эрнста фон Рата, ответом на это стала Хрустальная ночь. Или что, позвольте спросить, приобрели благодаря Мученику нацисты? Разве что появилось имя для нового лайнера.

Но вот я вновь иду по следу. Правда, не потому, что на меня давит Старик, скорее потому, что меня никогда не переставала допекать мать. Еще в Шверине, когда по случаю какого-нибудь торжества я надевал пионерский галстук или синюю блузу, она вечно зудила: «Море-то было студеное, все детки погибли. Написать ты про это должен. Ты ведь, раз по счастью выжил, у нас в долгу. А я тебе потом все расскажу, до самой малости расскажу, чтобы ты записал...»

Только я не хотел. Да и никто не хотел об этом слышать, ни здесь, на Западе, ни тем более на Востоке. «Вильгельм Густлофф» и проклятая история этого корабля сделались на десятилетия, так сказать, общегерманским табу. Но мать не переставала допекать меня, посылая с курьерами свои «малывы». Когда, бросив учебу и идеологически сильно накренившись вправо, я пошел работать на концерт Шпрингера, она написала мне: «Шпрингер-то реваншист. Вступается за нас, беженцев. Он наверняка захочет пропечатать такую историю. Каждый день будет в газете продолжение, из недели в неделю...»

И позднее, когда «taz» и прочие левые загибы стали действовать мне на нервы, тетя Йенни, залучив меня на спаржу с молодой картошкой в ресторан «Хабель» на площади Розенэк и дождаввшись десерта, знакомила с очередной материнской весточкой, приговаривая:

«Моя дорогая подруга Тулла продолжает возлагать на тебя большие надежды. Она просила передать тебе, что твоим сыновним долгом остается поведать наконец всему миру...»

Но я хранил молчание. Не поддавался давлению. На протяжении всех тех лет, когда я в качестве внештатного журналиста публиковал длинные статьи для экологических журналов, например о биодинамическом овощеводстве, о гибели немецкого леса, или исповедовался на тему «Аушвиц не должен повториться», мне удалось не затрагивать обстоятельств моего рождения, пока в конце января 1996 года я не наткнулся в Сети сначала на праворадикальный сервер «Stormfront», потом обнаружил некоторые сведения о Густлоффе, после чего познакомился с сайтом www.blutzeuge.de, посвященным Мученику и принадлежавшим «Соратничеству Шверин».

Делал для себя первые заметки. Удивлялся. Поражался. Решил выяснить, почему этой провинциальной личности оказалось достаточно четырех смертельных выстрелов в Давосе, чтобы привлечь к себе внимание нынешних интернетчиков. Кстати, сайт был скомпонован весьма умело. Фотомонтаж шверинских достопримечательностей. Между фотографиями ненавязчивые вопросы: «Хотите узнать о Мученике больше? Мы вышлем вам электронной почтой подробности его биографии».

Мы? Соратничество? Готов биться об заклад, что в Сети исполнялся сольный номер. Некий одиночка пытался взрастить на коричневом дерьме новые побеги. Работал он с выдумкой, а то, что сообщал, например, об организации «Сила через радость», было очень даже неглупо. Фотографии счастливых пассажиров, совершающих морской круиз. Купание на пляжах Рюгена.

Разумеется, мать об этом не знала. Кстати, она всегда называла организацию «Сила через радость» просто «Эс-Че-Эр». Десятилетней девчонкой она видела в кинотеатре Лангфура еженедельные выпуски киноновостей, среди прочего и первое плавание лайнера СЧР. Кроме того, отец и мать Покрифке (он – поскольку был рабочим и членом партии; она – поскольку состояла в национал-социалистической организации женщин) летом 1939 года очутились на борту «Вильгельма Густлоффа». Небольшая группа из Данцига, который тогда был еще вольным городом, получила, так сказать, спецразрешение для зарубежных немцев на участие в круизе. Целью круиза, состоявшегося в середине августа, были норвежские фьорды, хотя было уже поздновато для того, чтобы еще и полюбоваться белыми ночами.

По воскресеньям, когда я был маленьким, мать в очередной раз заводила разговор на бесконечную тему о морской катастрофе; с ностальгией о Лангфуре она вспоминала, как восторгался папа норвежской фольклорной группой, ее национальными костюмами и танцами, которые исполнялись на солнечной палубе лайнера СЧР. «А мама-то все восхищалась бассейном, который весь был выложен разноцветным кафелем и мозаикой; его потом осушили, чтобы разместить там девушек из вспомогательного флотского батальона, тесно им было, а русский стрельнул прямо туда своей второй торпедой и превратил их в месиво...»

Но пока еще «Вильгельм Густлофф» даже не заложен, тем более не спущен со стапелей. Мне приходится вернуться назад, поскольку сразу после смертельных выстрелов прокурор кантона Граубюнден, судьи, а также защитник начали готовить процесс против Давида Франкфуртера. Сам процесс должен был состояться в Куре. Процесс обещал быть непродолжительным, так как убийца во всем признался. В Шверине же по указанию самых высоких инстанций приступили к подготовке траурной церемонии для прощания с покойным, чтобы она навечно осталась в памяти народа. Кто только не был поднят на ноги после тех выстрелов: марширующие колонны штурмовиков, уличные шпалеры, люди в партийной форме с венками, факельное шествие. Под глухой рокот барабанов церемониальным маршем прошли отряды вермахта, толпы шверинцев застыли в скорбном оцепенении, хотя, возможно, многие были просто зеваками.

Партийный лидер, ранее не более известный в Мекленбурге, чем другие ландесгруппенляйтеры зарубежной организации НСДАП, Вильгельм Густлофф возвысился после смерти до фигуры таких масштабов, что некоторые из ораторов испытывали явные

трудности с подбором сравнений, соразмерных ее грандиозности, а потому не могли придумать ничего лучше, чем вспомнить того главного великомученика⁷, именем которого была названа песня, исполнявшаяся сразу после государственного гимна по случаю официальных мероприятий – а таких набиралось немало – с музыкой и словами «Знамена ввысь...».

В Давосе траурная церемония выглядела гораздо скромнее. Масштаб был задан небольшой церковью евангелической общины, скорее напоминавшей часовню. Покрытый флагом со свастикой гроб поставили перед алтарем. На гробе возлежали почетный кинжал, нарукавная повязка и фуражка штурмовика, скомпонованные в виде своеобразного натюрморта. Из всех кантонов прибыли около двухсот однопартийцев. Некоторые из швейцарцев выразили свою идейную солидарность с покойным, придя в часовню или собравшись перед ней. Вокруг грудилась гора.

Фрагменты этой скромной панихиды передавались из знаменитого легочного курорта германским радио, они ретранслировались всеми немецкими радиостанциями на территории Рейха. Комментаторы призывали слушателей затаить дыхание. Ни в одном из репортажей, ни в одной из речей, которые позднее были произнесены и в других городах, не упоминалось имя Давида Франкфуртера. Всюду речь шла лишь о «подлом еврейском убийце». Попытки противной стороны возвеличить недужного студента-медика, превратив его, памятуя о его корнях, в «югославского Вильгельма Телля», получили от швейцарских патриотов, изъяснявшихся, кстати, не на местных диалектах, а на литературном немецком языке, резкий отпор, однако все это сыграло на руку подозрениям, что за спиной стрелявшего стояли влиятельные силы; вскоре таковыми были прямо названы еврейские организации. Дескать, заказчиком «трусливого убийства» являются круги мирового сионизма.

Тем временем в Давосе подготовили спецпоезд для гроба с телом. При отправке звонили церковные колокола. Поезд находился в пути с воскресного утра до вечера Понедельника, первой остановкой на территории Рейха был Зинген, затем краткие торжественные остановки с церемониями состоялись в Штутгарте, Вюрцбурге, Эрфурте, Галле, Магдебурге и Виттенберге, где, выходя на перрон, соответствующий гауляйтер и представители местных партийных верхов «воздавали усопшему последние почести».

Это выражение, почерпнутое из сокровищницы высокого штиля, я обнаружил в Сети. В приведенных здесь оригинальных репортажах того времени дело не ограничивалось приветствием, заимствованным у итальянских фашистов, то есть поднятием правой руки, нет, люди, собравшиеся на перронах и траурных митингах, «воздавали последние почести»; поэтому и на сервере www.blutzeuge.de появился современный вариант немецкого приветствия и «воздаяния последних почестей», который призван был соответствовать стилистике киберпространства. В связи с этим «Соратничество Шверин» упомянуло также, что местный оркестр исполнил на траурной церемонии фрагменты «Героической симфонии» Бетховена.

Нашелся, впрочем, и критический голос, который откликнулся протестом на распространяемую по всему свету чушь. Некий чаттер указал на несообразность в процитированном репортаже из нацистской газеты «Фёлькишер беобахтер», где говорилось, что подразделение вермахта салютовало ружейными залпами в память боевого товарища, фронтовика Вильгельма Густлоффа; дело в том, что из-за своего легочного заболевания Густлофф не участвовал в Первой мировой войне, не проявлял отвагу на полях сражений, не мог быть удостоен Железного креста ни первого, ни второго класса, следовательно, данной почести не заслужил.

Похоже, объявился еще один дотошный одиночка, который решил испортить первому траурный церемониал. Кроме того, этот всезнайка съехидничал, что, мол, в речи мекленбургского гауляйтера Хильдебранда неоправданно отсутствовало указание на «национал-большевистское влияние», которое испытывал на себе Мученик со стороны Георга Штрассера. Ведь этот бывший сельскохозяйственный рабочий, с детских лет

возненавидевший аристократов из числа крупных землевладельцев и надеявшийся, что Гитлер, придя к власти, произведет решительный передел земли, был просто обязан хотя бы намеком защитить честь злокозненного Штрассера. Примерно так выглядели возражения. Спор всезнаек, обычный для чаттеров.

Безразличная к исходу спора траурная процессия, проиллюстрированная на сайте множеством фотографий, двинулась в путь. Погода капризничала, шествие тронулось от Дома торжественных заседаний по Гутенбергштрассе, потом по Висмаршештрассе, перешла через Тотендамм и завершила свой маршрут по Вальштрассе у крематория. По всему четырехкилометровому пути с обеих сторон улицы гроб провожали скорбные шпалеры, сам гроб возлежал на орудийном лафете, пока его под барабанный бой не сняли с лафета для кремации и после молитвы священника не опустили в огненную шахту. С обеих сторон от гроба по команде склонились знамена. Чекая шаг, пошли колонны с песней о погибшем товарище, в строю салютовали вскинутой рукой, отдавая последнее, самое последнее приветствие. Раздались ружейные залпы в честь павшего фронтовика, который, правда, как уже выяснилось, не нюхал пороха в окопах, не лежал ничком под артиллерийскими обстрелами и не изведаль, если уж говорить словами Юнгера, «стальной грозы». Ах, лучше уж ему было оказаться под Верденом, где его укукошил бы осколок снаряда.

Выросший в городе меж семи озер, я знаю, где на южном берегу Шверинского озера была замурована урна. Ее замуровали в фундамент четырехметрового гранитного камня с высеченными клинописными буквами. Вместе с обелисками, посвященными другим членам партийной Старой гвардии⁸, он служил центром специального комплекса – Мемориала героев. Не скажу, когда именно – мать знает это точно, – в первые послевоенные годы было снесено все, что могло напомнить шверинцам о Мученике, причем делалось это не только по приказу советского оккупационного командования. Однако мой сетевой аноним считал необходимым восстановить мемориал на прежнем месте, да и Шверин он неизменно продолжал называть «городом Вильгельма Густлоффа».

Все прошло, все миновало! Разве кто-нибудь теперь вспомнит, как звали руководителя Германского трудового фронта? Сегодня рядом с Гитлером в качестве вождей называют разве что Геббельса, Геринга и Гесса. Если в какой-нибудь телевизионной викторине ведущий спросит, кто такой Гиммлер или Эйхман, то можно ожидать как правильного ответа, так и полной неосведомленности относительно этих персонажей исторического прошлого; впрочем, иной телеведущий сопровождает потерю нескольких тысяч марок лишь легкой улыбкой.

Так кто же, кроме редактора найденного мной сайта, сумеет нынче вспомнить Роберта Лея⁹? А ведь именно он после прихода к власти национал-социалистов распустил все профсоюзы, опустошил профсоюзные кассы, занял своими спецкомандами принадлежащие профсоюзам здания, а членов профсоюзов, которых насчитывалось много миллионов, в принудительном порядке зачислил в Германский трудовой фронт. Ему, лунноликому, с челкой на лбу, пришлось в голову обязать сначала всех чиновников, потом всех учителей и учеников, затем, наконец, рабочих всех предприятий приветствовать друг друга вскинутой рукой и восклицанием «Хайль Гитлер!». Ему же принадлежит инициатива по организации отпусков для рабочих и служащих под девизом «Сила через радость» в виде дешевых туристических поездок в Баварские Альпы, Рудные горы, на балтийское и североморское побережье, а также в виде доступных по ценам коротких или сравнительно длительных морских круизов.

Судя по всему, был он человеком весьма энергичным, действовал без устали, не боясь никаких преград, но одновременно происходило и многое другое – например, постепенно заполнялись концентрационные лагеря. В начале 1934 года Лей арендовал для запланированной флотилии СЧР пассажирский теплоход «Монте Оливия» и пароход «Дрезден» водоизмещением в четыре тысячи тонн. Они могли взять на борт до трех тысяч

пассажирам. Однако уже во время восьмого круиза, давшего возможность очередным отпускникам насладиться красотами норвежских фьордов, подводный гранитный выступ в районе Кармзунда взрезал корпусную обшивку «Дрездена», в щель хлынула вода, судно начало тонуть. Правда, всех пассажиров удалось спасти, если не считать двух женщин, умерших от сердечного приступа, однако подобное происшествие могло похоронить и саму идею круизов СЧР.

Нет, не таков был Роберт Лей. Спустя всего неделю он арендовал еще четыре судна и располагал теперь большой флотилией, которая на следующий год приняла сто тридцать пять тысяч пассажиров, совершивших в основном пятидневные экскурсии в Норвегию, но вскоре начались плавания и по Атлантике к Мадейре, излюбленной цели отпускников. При этом тур, предлагаемый организацией «Сила через радость», обходился всего в сорок рейхсмарок, еще десять марок стоил льготный железнодорожный билет для проезда до Гамбургского порта.

Будучи профессиональным журналистом, я не мог не задаться при изучении доступного мне материала вопросом: каким образом сумели за столь короткий срок государственная система, возникшая благодаря закону о чрезвычайных полномочиях¹⁰, и оставшаяся в единственном числе политическая партия не только заставить замолчать рабочих и служащих, принудительно зачисленных в Германский трудовой фронт, но и побудить их к сотрудничеству, которое вскоре сменилось массовым ликованием по любому указанному сверху поводу? Ответом на этот вопрос служит отчасти деятельность национал-социалистической организации «Сила через радость», о которой многие из оставшихся в живых любили тайком вспоминать потом еще долгие годы, причем мать делала это далее открыто: «Нынче-то все не так, как прежде. Папа мой был в столярной мастерской всего лишь подсобным рабочим, он в те поры ни во что уж не верил, а вот СЧР все перевернула, потому что он с мамой впервые в жизни совершил путешествие...»

Надо заметить, что мать частенько болтала языком невпопад. Такая уж была своенравная и упрямая натура, что одно она легко отбрасывала, а другому хранила верность навек. В марте пятьдесят третьего года, когда объявили о смерти Сталина – я как раз валялся в постели то ли с воспаленными гландами, то ли с корью, то ли с краснухой, – она зажгла на кухне свечи и прямо-таки залилась слезами. Никогда больше я не видел ее слез. Когда спустя много лет убрали Вальтера Ульбрихта, она пренебрежительно назвала его преемника «жалким кровельщиком». Считавшаяся антифашисткой, она тем не менее горевала из-за памятника Вильгельму Густлоффу, разрушенного в середине пятидесятых, бранила «гнусных осквернителей». Позднее, когда на Западе обострилась проблема терроризма, я прочитал в одной из ее шверинских «малюв», что Баадер-Майнхофф – а для нее это всегда был один человек – погиб, сражаясь против фашизма. Для меня осталось непостижимым, за кого или против кого была мать. Зато ее подруга Йенни реагировала на подобные заявления матери лишь легкой улыбкой: «Тулла всегда была такой. Она не боится говорить то, что другим может прийтись не по нраву. Порой она немножко перебирает...» Например, на общем партийном собрании она назвала себя «последней из тех, кто сохранил верность товарищу Сталину», и сразу же за этим объявила бесклассовую организацию СЧР образцовой для каждого настоящего коммуниста.

В январе 1936 года гамбургская верфь «Блом & Фосс» получила от Германского трудового фронта, а точнее от ее организации «Сила через радость», подряд на строительство пассажирского лайнера со сметной стоимостью в 25 миллионов рейхсмарок; тогда ни у кого не возник вопрос: откуда взялись такие сумасшедшие деньги? Поначалу были заданы лишь основные характеристики: водоизмещение – 25 484 тонны, длина – 208 метров, осадка – 6-7 метров. Максимальная скорость – 15,5 узла. Предполагалось, что лайнер с его экипажем в составе 417 человек примет на борт 1463 пассажира. Это были более или менее обычные параметры для тогдашнего судостроения, но в отличие от других пассажирских судов перед корабелями стояла задача создать лайнер, на котором не будет существовать деления кают по

классам, что, по замыслу Роберта Лея, призвано было продемонстрировать воплощение идеала единой национальной общности всех немцев.

Предполагалось, что при спуске со стапелей лайнер будет наречен именем Вождя, однако когда рейхсканцлер стоял на упомянутой выше траурной церемонии рядом с вдовой своего однопартийца, убитого в Швейцарии, он принял решение назвать строящийся лайнер в честь нового Мученика национал-социалистического движения; вскоре после кремации его именем стали называться площади, улицы и школы по всему Рейху. В его честь были переименованы даже бывшие военные Заводы Симсона в Зуле, отныне они, называясь Заводы имени Вильгельма Густлоффа, продолжали выпускать продукцию военного назначения, а с 1942 года даже расширились, открыв свой филиал в концентрационном лагере Бухенвальд.

Не буду перечислять всего, что было названо в его честь – упомяну разве что Мост имени Густлоффа в Нюрнберге и Дом имени Густлоффа в немецкой колонии бразильской Куритибы, – зато спрошу себя, а заодно и размещу в Интернете вопрос: «Что было бы, если бы заложенный в Гамбурге лайнер все-таки получил при спуске со стапелей 4 августа 1936 года имя Вождя?»

Ответ поступил незамедлительно: «Корабль „Адольф Гитлер“ был бы непотопляем, ибо само провидение...» И т. д. и т. п. У меня же возникла мысль: следовательно, я не оказался бы тогда одним из тех, кто пережил ту забытую всем миром катастрофу. Ведь тогда все спокойно сошли бы на берег во Фленсбурге, мать родила бы меня уже там, моя биография не была бы по-своему уникальна и показательна, тем более не стала бы сегодня предметом для литературных упражнений.

«Пауль, сынок мой, не чета другим, он особенный!» – будучи ребенком, я постоянно слышал от матери эту фразу. Вдвойне бывало неловко, когда она, употребляя словечки, которые остались со времен Лангфура, начинала расписывать мои особенности соседям, а то и целому партсобранию: «Он еще только родился, а я уж знала, что вырастет пацаненок и станет знаменитым...»

Смех да и только. Мне-то известно, чего я стою. Заурядный журналист, но на коротких дистанциях не так уж и плох. Раньше, правда, вынашивал большие замыслы – моя книга «Между Шпрингером и Дучке» так и осталась в чернильнице, – но на этом обычно дело и заканчивалось. Потом Габи тайком от меня перестала принимать противозачаточные таблетки, и поскольку виновником ее беременности вполне однозначно был я, то ей удалось меня окрутить; вскоре на свет явилось плаксивое чадо, будущая учительница продолжила учебу в университете – стало ясно: конец моим мечтаниям. Отныне для меня как отца семейства поприщем творческого роста стали смена пеленок и орудование пылесосом. Тут уж не до грандиозных планов. Когда тридцатипятилетнему простофиле с редющей шевелюрой не удастся отвертеться от ребенка, пиши пропало, этот человек безнадежен. При чем здесь любовь! Такие вещи случаются снова только после семидесяти, когда все равно уж ни на что толком не способен.

Габриела, которую все называют Габи, была не слишком красивая, но довольно симпатичная. Она умела увлечь и поначалу тешилась надеждой, что сможет перевести меня, неспешно бредущего по жизни, на ускоренный аллюр – «Попробуй взяться за острую тему, имеющую общественную значимость, напиши про движение в защиту мира, про новую гонку вооружений», – в результате чего я принимался сочинять нудные проповеди в виде репортажей о Мутлангене, о размещении крылатых ракет «Першинг-2», о сидячих блокадах, причем эти репортажи даже находили определенный отклик в левых кругах. Но потом мой запал угасал вновь. В конце концов она махнула на меня рукой.

Впрочем, не только Габи, но и мать считала меня типичным неудачником. Когда у нас родился сын, мать тут же отбила нам телеграмму, настаивая: «Должны назвать его Конрадом!», а в письме своей подруге Йенни она высказалась однажды со всей откровенностью: «Каков осел! И ради этого я отправила его на Запад? Чтобы так разочаровать меня! Неужели это все, на что он способен?»

Собственно, она была права. Вот моя жена, которая была на десять лет моложе, действительно отличалась целеустремленностью, она успешно справлялась с любыми экзаменами, стала преподавательницей гимназии, получила статус государственного чиновника. Наш довольно натужный брачный союз даже не дотянул до рокового семилетнего срока, мы разошлись. Габи оставила мне квартиру в районе Кройцберг, в старом доме с печным отоплением и неизменной берлинской затхлостью, а сама переехала с маленьким Конрадом в Западную Германию, где у нее в Мёльне жила родня и где она вскоре начала учительствовать.

Милый городок у озера, тихий, поскольку находился в приграничной зоне, даже идиллический. Места эти называются довольно громко «герцогство Лауэнбург», что ничуть не убавляет прелести здешних пейзажей. Нравы тут патриархальны. Туристические путеводители именуют Мёльн «городом Тиля Уленшпигеля». Габи провела в нем свои детские годы, поэтому, вернувшись, вскоре опять почувствовала себя дома.

Я же продолжал катиться под уклон. Застрял в Берлине. Держался на плаву поденщиной для информационных агентств. Попутно строчил репортажи для «Евангелишес зонтагсблатт», что-нибудь вроде «Зеленые и берлинская Зеленая неделя» или «Турки в Кройцберге». Что еще? Ничего особенного, если не считать пары интрижек с женщинами, которые скорее действовали мне на нервы, да штрафов за парковку в неполюженном месте. Ну и развод, последовавший через год после отъезда Габи.

Своего сына Конрада я видел только во время моих визитов, то есть редко и нерегулярно. Он носил очки, выглядел не по годам взрослым, имел, по заверениям матери, незаурядные способности, преуспевал в школе, оказался впечатлительной натурой. Сразу после падения Берлинской стены и открытия пограничного перехода в Мустине, что находится неподалеку от небольшого городка Ратцебурга, соседствующего с Мёльном, Конни упросил мою бывшую супругу отвезти его в Шверип – а на машине это час езды, – чтобы увидеться с бабушкой Туллой.

Так он ее и называл. Думаю, она сама этого хотела. Одним-единственным визитом дело не ограничилось, сегодня приходится сказать – к сожалению. Между ними сразу же возникло полное взаимопонимание. Десятилетний Конни уже тогда был не по годам рассудителен. Уверен, что мать до отказа напичкала его своими историями, которые разыгрывались отнюдь не только в Лангфуре на Эльзенштрассе, во дворе столярной мастерской. Она поведала ему все, вплоть до собственных приключений, пережитых ею в последний год войны, когда она работала трамвайным кондуктором. Мальчик впитывал все это подобно губке. Разумеется, не обошлось без вечной истории о тонущем корабле. С этих пор мать начала связывать свои большие надежды с Конрадом, которого она называла не иначе как ласково – Конрадхен.

В эту пору она частенько навещалась в Берлин. Выйдя на пенсию, она любила разъезжать повсюду на своем крохотном «трабанте». Навещала прежде всего свою подругу Йенни, я же служил фактором побочным. Что это были за встречи! В игрушечном ли домике тети Йенни, в моей ли кройцбергской конуре мать теперь могла говорить только об одном – о своем Конрадхене, о том, какое счастье выпало ей на старости лет. Как замечательно, что она сможет побольше заниматься им, поскольку народный мебельный комбинат недавно приватизировали, не без ее участия, между прочим. Она помогает советами. К ней опять прислушиваются. А что касается внука, то тут у нее полно планов.

Тетя Йенни отзывалась на подобные энергетические выбросы лишь своей примерзшей к губам улыбкой. Мне же мать твердила: «Конрадхен непременно станет знаменитым. Не чета он тебе, неудачнику».

«Верно, – отвечал я, – из меня толку не вышло, а теперь уж и не выйдет. Разве что выйдет из меня заядлый курильщик».

Вроде того еврея Франкфуртера, добавил бы я сегодня, который прикуривал одну сигарету от другой и о котором мне приходится писать, поскольку его выстрелы попали в цель, поскольку строительство заложенного в Гамбурге лайнера успешно продвигается, поскольку штурман Маринеско несет службу на черноморской подлодке, бороздящей

прибрежные воды, и поскольку 9 декабря 1936 года в суде швейцарского кантона Граубюнден начался процесс над родившимся в Югославии убийцей Вильгельма Густлоффа, гражданина Рейха.

Три охранника в гражданском стояли в Куре перед судейским столом и скамьей подсудимых, на которой, теснясь меж двух полицейских, сидел обвиняемый. По указанию кантональной полиции охранники постоянно следили за публикой, а также за швейцарскими и иностранными журналистами. Опасались покушения, которого ждали от любой из сторон.

Чтобы справиться с наплывом публики и журналистов из Рейха, пришлось перенести судебные заседания из кантонального суда в зал Малого совета Граубюндена. Защиту взял на себя адвокат Ойген Курти, пожилой господин с седой эспаньолкой. Частного обвинителя, то есть вдову покойного, представлял известный юрист профессор Фридрих Гримм, опубликовавший вскоре после войны свой классический труд «Политическая юстиция – болезнь нашего века», который вызвал немалый общественный резонанс, поэтому я не был удивлен, когда обнаружил в Сети объявление о новом издании этой книги, предпринятом правым экстремистом Эрнстом Цюндемом, имеющим немецко-канадское происхождение; выяснилось, кстати, что тираж уже распродан.

Уверен, однако, что редактор найденного мной шверинского сайта успел своевременно приобрести экземпляр этой пропагандистской книги, поскольку его публикации были нашпигованы цитатами из Гримма, который резко полемизировал с защитником Курти, чья речь выглядела, признаться, довольно занудной. Складывалось впечатление, будто судебный процесс проходит вновь, только на сей раз на виртуальных подмостках переполненного всемирного театра.

Позднее мои разыскания показали, что сей нынешний боецодиночка пользовался материалами газеты «Фёлькишер беобахтер», этого «боевого листка национал-социалистического движения Великой Германии». Так, сделанное вроде бы мимоходом замечание о том, что госпожу Хедвиг Густлофф, явившуюся в суд на второй день заседаний, находившиеся там немцы, проживающие в Швейцарии, а также прибывшие из Рейха журналисты, равно как и некоторые швейцарские сторонники, приветствовали вскинутой рукой, было заимствовано из репортажа «ФБ». Таким образом, «боевой листок» смог присутствовать не только на всех заседаниях четырехдневного судебного процесса, названного «историческим», но и на дебатах, развернувшихся в Интернете; например, из того же источника в Сети цитировались суровые упреки отца-раввина, содержащиеся в письме к блудному сыну: «Я уже ничего не жду от тебя. Ты не пишешь. А отныне можешь уже и не писать». Эти цитаты приводились и в суде как свидетельство жестокосердия обвиняемого; ему, заядлому курильщику, разрешали выкурить во время перерывов одну-две сигареты.

Пока офицер-подводник Маринеско ходил в плавание или же получал в Севастополе увольнения на берег, а потому, видимо, на протяжении трех суток бывал пьяным в дым, пока лайнер на гамбургской верфи обретал все более зримые очертания – клепальщики стучали день и ночь, – обвиняемый Давид Франкфуртер стоял перед судьями или сидел, зажатый меж двух полицейских. Он добросовестно давал признательные показания. Сидя слушал, а говорил стоя: решил, приобрел, тренировался, приехал, прогуливался, нашел, вошел, сидел, выстрелил пять раз. Свои показания он произносил четко, заминки случались лишь изредка. Приговор он принял, хотя в Интернете говорилось, что при этом он «плакал, представляя собою жалкое зрелище».

В кантоне Граубюнден смертной казни не существовало, поэтому профессор Гримм, выразив свое сожаление, потребовал максимально суровой кары – пожизненного заключения. Все, что говорилось в Сети до оглашения приговора (восемнадцать лет каторжной тюрьмы, затем высылка из страны), выглядело весьма пристрастным в пользу Мученика, но затем, судя по всему, мнение редактора сайта и мнение «Соратничества Шверин» разделились. Может, у редактора вновь появился личный оппонент? Тот спорщик и всезнайка, который

однажды уже заходил в чат? Во всяком случае, спор опять возобновился, зазвучали два голоса.

Этот затухающий и вновь разгорающийся диспут разыгрывался как бы между двумя сценическими ролями, при этом один из спорщиков выступал от имени Вильгельма, убиенного ландесгруппенляйтера, а другой называл себя Давидом по имени несостоявшегося самоубийцы.

Складывалось впечатление, будто этот взаимный обмен ударами доносится до нас с того света. Однако готовилось все это по-земному основательно. При встречах убийцы с жертвой снова и снова обсуждалось как само преступление, так и его мотивы. Если один выступал в качестве активного пропагандиста и восторженно заявлял, например, что «благодаря личным заслугам Вождя» ко времени судебного процесса в Рейхе насчитывалось на восемьсот тысяч безработных меньше, чем в тот же период предшествующего Года, то другой парировал эти восторги перечислением данных, сколько евреев – врачей и пациентов – были изгнаны из больниц и санаториев, а также напоминанием, что уже 1 апреля 1933 года нацисты объявили антиеврейский бойкот, в ходе которого витрины еврейских магазинов были заклеены призывами «Смерть жидам!». За ударом следовал удар. Так, Вильгельм, отстаивая тезис о необходимости сохранения арийской расы и чистоты немецкой крови, приводил на сайте соответствующие выдержки из книги Вождя «Моя борьба», а Давид отвечал ему фрагментами из книги «Болотные солдаты» – документального повествования, опубликованного в эмигрантском издательстве бывшим узником концентрационного лагеря.

Спорили не на шутку, ожесточенно. Но внезапно напряжение немного спало. Перебранка сменилась едва ли не приятельской болтовней. Вильгельм спрашивал: «Ты почему стрелял в меня пять раз?», Давид отвечал: «Извини, первый раз промахнулся. Дырок осталось только четыре». Вильгельм не унимался: «Верно. А пушка у тебя от кого?» Давид: «Купил. Всего за десятку». – «Продешевили. Могли бы запросить полсотни франков». – «Понятно. Хочешь сказать, что пушку мне подарили, так?» – «Уверен, что ты стрелял по заказу». – «Ну, да! По указке мирового сионизма».

Вот так на протяжении нескольких дней шел сетевой диалог. После жесточайших взаимных нападок они принимались шутить, дружески подначивать друг друга. Уходя из чата, прощались: «Покедова, клон фашистский!» и «Бывай здоров, жиденыш!» Если же в чат, мешая их разговору, забредал посторонний, какой-нибудь чужак с Балеар или из Осло, то ему тут же сигналили: «Проваливай!», а в лучшем случае – «Загляни попозже».

Похоже, оба они были любителями настольного тенниса, ибо вместе восторгались немецким асом пинг-понга Йоргом Роскопфом, который, по словам Давида, мог порвать любого китайского чемпиона. Оба заверяли, что являются приверженцами честной борьбы. И оба оказались настоящими знатоками, способными взаимно оценить по достоинству находки соперника: «Класс! Где сумел раскопать эту цитату Грегора Штрассера»? Или: «Ну, ты даешь, Давид, а я и не знал, что Гитлер сначала отстранил Хильдебрандта за левый уклон, а потом по настоянию доблестных мекленбуржцев вновь назначил его гауляйтером».

Они вполне могли сойти за приятелей, которые лишь старательно отработывают дежурную норму взаимной ненависти. Когда Вильгельм задал в чате вопрос «Если бы Вождь вернул меня к жизни, ты стал бы стрелять в меня снова?», немедленно последовал ответ Давида: «Ладно уж, на этот раз твоя очередь мочить».

Во мне забрезжили подозрения. Пришлось отказаться от мысли, что ловкий редактор сайта, раздвоившись, вел диалог с самим собой. Похоже, я нарвался на двух шутников, которые, впрочем, относились к своей игре до смерти серьезно.

Позднее, когда все, причастные к этой истории, ужаснулись и стали говорить, что раньше совершенно ни о чем не догадывались, я сказал матери: «А мне с самого начала многое казалось странным. Задавал себе вопрос: на кой черт нынешним ребятам этот Густлофф и все прочее? Ведь ясно же было, что тут не старичье в Интернете время убивает, не вечно вчерашние вроде тебя; я сразу сообразил...»

Мать никак не отреагировала. Как всегда, когда ее что-нибудь слишком задевало, она сделала отсутствующее лицо, до отказа закатила глаза. Она ведь все равно была убеждена, что все это могло случиться лишь потому, что десятки лет «даже заикнуться нельзя было о Густлоффе. У нас, на Востоке, тем более. А на Западе если уж начинали говорить о прежних временах, так выбирали самую жуть, вроде Аушвица. Боже мой! Сколько шума поднялось в нашей парторганизации, когда я про СЧР словечко доброе молвила – дескать, „Густлофф“ сделали бесклассовым кораблем...»

И тут она снова принялась вспоминать, как мама с папой плавали к норвежским берегам: «Мама никак опомниться не могла, потому что в столовой все отпускники вместе сидели, простые рабочие вроде папы, и чиновники, и шишки партийные. Хорошо там было, почти как у нас в ГДР, даже, видать, почище...»

Идея насчет бесклассового лайнера была, действительно, блестящей. Думаю, именно этим объясняется то бурное ликование, которым отмечали рабочие верфи спуск лайнера на воду, состоявшийся 5 мая 1937 года. Еще отсутствовали труба, спардек и пеленгаторная палуба. Собрался весь Гамбург, толпы народа. Но на самом освящении лайнера присутствовало лишь около десяти тысяч человек, приглашенных Леем лично.

Спецпоезд Гитлера прибыл на вокзал Дамтор в десять утра. Оттуда Вождь проехал по улицам Гамбурга в открытом «мерседесе», приветствуя то вытянутой, то слегка согнутой рукой ликующую, разумеется, толпу. От пирса его доставили на верфь катером. Все стоявшие в порту суда, в том числе иностранные, вывесили флаги. Здесь же находились в полном составе украшенные флагами расцветивания суда, арендованные для флотилии СЧР – от «Сьерры-Кордовы» до «Сап-Луиса».

Не стану перечислять всех, кто маршировал в колоннах, кто шелкал, здороваясь, каблуками. Когда Вождь всходил на трибуну, внизу толпились, приветствуя его, рабочие. Четыре года назад на последних свободных выборах большинство из них еще голосовали за социал-демократов или коммунистов. Теперь же для них существовала лишь одна-единственная Партия, и перед ними стоял собственной персоной олицетворяющий ее Вождь.

На трибуне была и вдова. Он знал Хедвиг Густлофф по давним годам борьбы. Она работала его секретаршей еще до того, как мюнхенский марш к Палате полководцев¹¹ закончился кровавым финалом. Позднее, когда он попал в ландсбергскую крепость, она отправилась на поиски работы в Швейцарию, где и встретила своего будущего супруга.

Кто еще удостоился чести попасть на трибуну? Начальник верфи, госсветник Блом и руководитель парторганизации верфи Паули. Разумеется, здесь же находился Роберт Лей. Были и другие партийные лидеры. Гауляйтер Гамбурга Кауфман, гауляйтер Шверина и Мекленбурга Хильдебрандт. Военно-морской флот представлял адмирал Редер. Долгое путешествие из Давоса проделал руководитель местной партийной организации Бёме.

Выступали ораторы. Вождь па сей раз воздержался от речей. После Кауфмана начальник верфи «Блом & Фосс» обратился к Вождю: «От имени коллектива верфи докладываю: туристический лайнер за номером 511 к спуску на воду готов!»

Остальное пропустим. Но, пожалуй, стоит все-таки привести несколько перлов из выступления Роберта Лея. Начал он с обращения: «Немцы!» После чего весьма многословно изложил идею движения «Сила через радость», призванную сплотить немецкий народ, и, наконец, указал на первоисточник великой идеи: «Вождь дал мне приказ: обеспечьте немецкому рабочему возможность достойно провести свой отпуск, чтобы нервы его были крепкими, ибо в противном случае, какие бы усилия я ни предпринимал, все окажется тщетным, если у немецкого парода сдадут нервы. Необходимо, чтобы немецкие массы, немецкий рабочий имели достаточно сил, чтобы постичь мои замыслы».

Когда некоторое время спустя вдова произнесла слова «Нарекаю тебя именем Вильгельма Густлоффа», раздался восторженный рев крепкой нервами толпы, который

заглушил звон бутылки шампанского, разбившейся о борт лайнера. Пока лайнер спускался на воду, были исполнены оба гимна, государственный и партийный. Мне же, одному из уцелевших при катастрофе «Густлоффа», каждый спуск корабля на воду, на котором мне приходится присутствовать в качестве журналиста или который я вижу по телевизору, напоминает о гибели лайнера, окрещенного некогда погожим майским днем.

Примерно в то время, когда Давид Франкфуртер сидел в тюрьме Зенхоф кантона Кур, а в Гамбурге разбилась вдребезги бутылка шампанского, Александр Маринеско учился на командирских курсах то ли в Ленинграде, то ли в Кронштадте. Во всяком случае, его перевели с Черного моря на Балтику. Уже летом, когда сталинская чистка не обошла стороной и балтийских морских начальников, он стал командиром подлодки.

М-9б была довольно старой моделью, приспособленной для ведения боевых действий в прибрежных водах. По доступной мне информации, М-9б имела водоизмещение 250 тонн, экипаж насчитывал 18 человек, то есть лодка была сравнительно небольшой. Маринеско долго оставался командиром этой боевой единицы, бороздившей воды Финского залива и имевшей на вооружении всего две торпеды. Полагаю, что, находясь в каботажном плавании, он постоянно отрабатывал атаки в надводном положении и срочное погружение.

3

Пока велись внутренние работы на всех палубах, от нижней до солнечной, монтировалась труба, отделялся капитанский мостик, оборудовалась радиорубка, пока в прибрежных водах Балтики отрабатывались срочные погружения, в Куре минули одиннадцать месяцев тюремного заключения; лишь к этому времени лайнер смог отвалить от достроечного причала, чтобы отправиться вниз по Эльбе в пробное плавание по Северному морю. Я же вернусь к быстротекущему настоящему времени, чтобы продолжить повествование. Или же стоит уступить Зануде, чье ворчание уже невозможно оставить без внимания?

Он требует от меня более подробных воспоминаний. Ему хочется знать, какой я видел, обонял, осязал мать в моем раннем детстве, скажем начиная лет с трех. По его словам, «первые впечатления бывают определяющими на всю дальнейшую жизнь». Я отвечаю: «Вспоминать-то особенно нечего. Когда мне было три года, она как раз закончила учиться столярному делу. Да, она приносила из мастерской стружку и кубики, до сих пор помню эти завитушки и рушащиеся пирамиды. Я играл стружками и кубиками. Что еще? Мать пахла столярным клеем. Этот запах сопровождал ее всюду, где бы она ни стояла, сидела, лежала – до чего же пропахла клеем ее постель, ужас. Яслей тогда еще не было, поэтому сначала за мной присматривала соседка, а уж потом меня отдали в детский сад. Так было заведено у работающих матерей по всему рабоче-крестьянскому государству, не только в Шверине. Помню толстых и худых теток, которые помыкали нами, помню манную кашу, в которой торчком стояла ложка».

Подобные обрывочные воспоминания Старика не устраивают. Он гнет свое: «Б мои годы, когда Тулле Покрифке исполнилось лет десять, личико у нее было невыразительное: точка-точка-запятая. А как она выглядела году в пятидесятом, когда ей стукнуло двадцать три и она была учеником столяра? Косметику употребляла? Носила на голове платок или дамистую шляпку горшком? Делала химическую завивку или нет? А может, ходила по выходным дома в папильотках?»

Не знаю, утихомирят ли его любопытство мои ответы; мои воспоминания о матери в годы ее молодости и предельно отчетливы, и одновременно смутны. Она всегда была для меня беловолосой. С самого начала. Не серебристо-седой. Просто беловолосой. Если кто-нибудь любопытствовал, мать рассказывала: «Стряслось это, когда я сына рожала. На миноносце, который нас подобрал...» Если же любопытствующий готов был слушать дальше, следовал рассказ о том, как волосы у нее в одночасье побелели и остались белыми, когда

спасенные миноносцем «Лёве» мать с новорожденным сошли на берег в Кольберге. Мать носила короткую стрижку. Но раньше, до того как «побелела в одночасье, будто по приказу свыше», волосы у нее были русые, слегка рыжеватые, длиною до плеч.

Поскольку мой Работодатель не унимался, то в ответ на дальнейшие расспросы я сообщил, что у матери сохранилось лишь несколько фотографий пятидесятых годов. На одной видно, что белые волосы подстрижены совсем коротко, на длину спички. Порой в них потрескивало электричество, когда я их гладил, что мне иногда позволялось. Таковую же прическу носит она и сейчас. Ей было всего семнадцать, когда она внезапно стала совершенно беловолосой. «Да нет же. Она никогда не красилась. Никому из партийной организации не довелось увидеть ее иссиня-черной или золотисто-рыжей».

«Что еще? Прочие воспоминания? Например, о мужчинах? Имелись ли таковые?» Подразумевались те, кто оставался на ночь. Ведь в юные годы Тулла Покрифке была помешана на мужском поле. Ходила ли она в купальню Брёзена, работала ли кондукторшей на трамвайном маршруте между Данцигом, Лангфуром и Оливой, всюду ее окружали не только молодые люди, но и взрослые мужчины, например фронтовики, приезжавшие на побывку. «Повышенный интерес к мужчинам не пропал, когда она сделалась беловолосой?»

Что вообразил себе Старик? Неужели и впрямь полагает, будто мать стала монашкой лишь оттого, что ее волосы побелели от пережитого шока. Мужчин у нее всегда хватало. Только долго они не задерживались. Один был десятником у каменщиков, неплохой дядька. Приносил дефицитные продукты, которых не достать по талонам. Ливерную колбасу, например. Мне уже было десять лет, когда он приходил к нам домой на Лемштрассе 7. сидел на кухне, щелкая подтяжками. Звали его Йохен, и ему всенепременно хотелось покатать меня на коленке. Мать называла его Йохен Второй, потому что в юности водилась с одним старшекласником, настоящее имя которого было Иоахим, но все звали его Йохен. «Только я его совсем не интересовала. Он меня даже не лапал...»

Через некоторое время мать прогнала Йохена Второго, уж и не помню, за что. Когда мне исполнилось лет тринадцать, к нам после службы, а иногда и по воскресеньям стал наведываться младший лейтенант, который служил в Народной полиции. Он был саксонцем, родом, кажется, из Пирны. Он приносил нам западную зубную пасту «Колгейт» и еще кое-что из конфискованных вещей. Между прочим, его тоже звали Йохен, поэтому мать говорила мне: «Завтра Третий придет. Ты уж с ним не выкобенивайся...» Йохен Третий также получил отставку, ибо ему, по словам матери, не терпелось ее «захомутать».

Она не была создана для брака. «Мне и тебя хватает», – сказала она, когда я лет в пятнадцать почувствовал, что все мне до смерти надоело. Нет, не школа надоела. Учился я, если не считать русского, неплохо. Осточертел весь этот балаган ССНМ¹², выезды на сбор урожая, субботники, бодряческие песни, к тому же мать допекла. Я уже не мог больше слышать ее бесконечные истории о «Густлоффе», которыми она обычно потчевала меня по воскресеньям под биточки с вареной картошкой. «Все полетело кувырком. Такое не забудешь. Никогда этому конца не будет. До сих пор снится, как в последний момент над водою раздался крик. И детки сняты между льдинами...»

Но иногда, сидя за воскресным столом со своей чашкой кофе, она лишь бормотала: «А красивый был все-таки корабль-то», – и больше ни слова. Но ее отсутствующий взгляд был достаточно красноречив.

Это правда. Когда строительство завершилось, белоснежный от носа до кормы лайнер «Вильгельм Густлофф», отправляясь в свое первое плавание, был поистине великолепен. Это не оспаривали даже те, кто после войны объявил себя антифашистом, никогда не изменявшим своим убеждениям. А те, кому посчастливилось попасть на борт лайнера, говорили, сойдя на берег, что испытали своего рода озарение.

Уже в пробное двухдневное плавание, которое проходило, к сожалению, при штормовой погоде, на лайнер взяли рабочих и служащих верфи «Блом & Фосс», к ним добавили

продавщиц гамбургского потребсоюза. Когда же 24 марта 1938 года «Вильгельм Густлофф» отправился в море на трое суток, то его пассажирами стали около тысячи австрийцев, отобранных партийными организациями, ибо спустя две недели населению Восточной марки предстояло проголосовать за то, что уже свершилось благодаря молниеносной операции вермахта, – за присоединение Австрии к Рейху. Кроме того, на борту вновь было триста девушек из Гамбурга, избранных представительниц Союза немецких девушек, и более сотни журналистов.

Шутки ради, а также в качестве некоего теста попробую вообразить, как вел бы себя я, скромный журналист, на приеме, который был обещан для работников печати в самом начале плавания и, судя по программе, состоялся в кинозале лайнера, предназначенном также для торжественных мероприятий. Признаться, я далеко не храбрец, о чем не раз говаривала мать и в чем совершенно уверена Габи, тем не менее я, возможно, набрался бы безрассудства задать вопрос о том, на какие средства был построен новый лайнер и вообще какими финансами располагает Германский трудовой фронт, хотя вместе с другими журналистами я мог бы сообразить и сам, что прожекты Лея было бы невозможно осуществить, если бы не деньги, конфискованные со счетов запрещенных профсоюзов.

Хорошо помечтать о собственной смелости. На самом деле, насколько я себя знаю, ее хватило бы разве что на завуалированный вопрос насчет финансовых возможностей ГТФ, а руководитель туристической поездки, хранящий при любых обстоятельствах абсолютную невозмутимость, вероятно, пошутил бы, что Германский трудовой фронт буквально купается в деньгах, в чем мы можем убедиться сами. Через несколько дней на верфи Ховальдт сойдет со стапелей очередной гигантский лайнер, который, как легко догадаться, будет назван в честь Роберта Лея.

После этого орда приглашенных журналистов приступила к осмотру лайнера. Задавать новые вопросы никто не отважился. Я помалкивал наравне с другими, тем более что в моей реальной, а не воображаемой профессиональной жизни никогда не решался на скандал, не обнаруживал скелетов в чужих шкафах, не разоблачил ни одного отмывания денег, не поймал за руку ни одного продажного министра. Исполненные исключительно чувством долга, мы переходили с одной палубы на другую. Если не считать специальных кают для Гитлера и Лея, которые не были доступны для осмотра, все остальное на лайнере действительно не имело классовых различий. Хотя все подробности известны мне лишь по фотографиям и иным материалам, однако у меня возникает чувство, будто я и впрямь присутствовал на том осмотре, разгоряченный от восхищения и одновременно вспотевший от боязни сказать лишнее.

Я увидел просторную, освобожденную от всего ненужного солнечную палубу, увидел душевые и санузлы. Я смотрел и усердно записывал. Позднее мы смогли полюбоваться безупречно отлакированными переборками нижней прогулочной палубы и отделанными под орех кают-компаниями. С удивлением разглядывали мы Актный зал, Фольклорный зал и Немецкий зал. В каждом из них висел портрет Вождя, устремившего свой взор поверх нас в будущее. Кое-где имелся портрет Роберта Лея форматом поменьше. Однако преимущественным украшением интерьеров служили живописные пейзажи, исполненные в манере старых мастеров. Впрочем, художники были нашими современниками; мы поинтересовались фамилиями, записали их в блокноты.

В промежутках нас угощали свежим пивом, что позднее было отмечено в моем репортаже, где я, стараясь избегать декадентского слова «бар» и заменяя его вполне простонародным понятием, сообщил о наличии на борту лайнера «семи симпатичных пивных».

Затем на нас обрушилась лавина цифр. Вот некоторые из них. В камбузе палубы А наличествовал суперсовременный посудомоечный агрегат, способный ежедневно доводить до зеркального блеска 35 000 грязных тарелок. Нам сообщили, что запас пресной воды составляет 3400 тонн, а единственная труба лайнера служит одновременно водонапорной башней. Осматривая самую нижнюю палубу Е, где разместились гамбургские

представительницы Союза немецких девушек, устроив там нечто вроде молодежного туристического лагеря, мы заглянули в находящийся на этой же палубе бассейн, вмещавший шесть тонн воды. Было и еще множество цифр, которые я уже не записывал. Некоторые журналисты облегченно вздохнули, когда поняли, что их пощадят, оставив в неведении относительно количества кафельных плиток или отдельных разноцветных элементов в мозаичном панно, изображавших рыбоподобных дев и фантастическое морское чудовище.

Поскольку я с детства слышал рассказы матери и знал, что вторая торпеда попала в бассейн, превратив осколки кафеля и мозаики в смертельную шрапнель, то, глядя на девичьи тела, плещущиеся в воде, я, возможно, все-таки решился спросить, на сколько метров ниже ватерлинии находится бассейн. Вероятно, мне показалось также, что двадцати двух спасательных баркасов, закрепленных на верхней палубе, маловато. Однако я не стал докапываться до причин, не пророчествовал, не предвидел катастрофу, которая произошла семь лет спустя морозной военной ночью, когда на борту лайнера насчитывалось не полторы тысячи беззаботных отпускников, как это полагалось по нормам мирного времени, а около десяти тысяч человек, которых ждала гибель, и выжила из них лишь небольшая часть пассажиров, их точное число до сих пор неизвестно; вместо этого я, будучи то ли журналистом из «Фелькишер беобахтер», то ли корреспондентом солидной «Франкфуртер цайтунг», самым выпреним слогом или же в деловитом тоне сделал такие комплименты замечательным спасательным баркасам, будто речь шла о приятном сюрпризе в виде бесплатного приложения к программе «Сила через радость».

Кстати, через некоторое время один из баркасов пришлось спустить на воду. Затем другой. Причем отнюдь не в учебных целях.

Во время своего второго плавания к Дуврскому проливу «Вильгельм Густлофф» попал в шторм, дул сильный норд-вест, лайнеру пришлось сражаться с высокой волной, и тут на нем был получен сигнал SOS, поданный английским углевозом «Pegaway», у которого был поврежден погрузочный люк и вышло из строя рулевое управление. Капитан Люббе, позднее умерший во время следующего круиза на Мадейру от сердечного приступа, тут же приказал взять курс на то место, где терпел бедствие углевоз. Спустя два часа прожектора обнаружили в кромешной тьме «Pegaway», который уже набрал довольно много воды. Но шквальный ветер усиливался, поэтому лишь ранним утром удалось спустить на воду один из двадцати двух спасательных баркасов, однако толчея волн ударила его о корпус лайнера, что причинило баркасу серьезный ущерб, после чего его отнесло в сторону. Капитан Люббе немедленно приказал спустить моторный катер, которому после нескольких попыток удалось забрать с углевоза девятнадцать моряков и уже с меньшими трудностями, поскольку шторм начал стихать, доставить их на лайнер. В конце концов был найден и баркас, экипаж которого подняли на борт лайнера. Об этом писали. Немецкие и иностранные газеты отозвались с похвалой о спасательной операции. Но гораздо подробнее это сделал по прошествии долгого времени Хайнц Шён. Так же, как и я теперь, он перелопатил в свое время кучу газетных сообщений. Дело в том, что его биография, подобно моей, оказалась прочно связанной со злосчастным лайнером. Примерно за год до окончания войны он был назначен на «Вильгельм Густлофф» помощником казначея. Вообще-то Хайнц Шён сделал неплохую карьеру в морской организации гитлерюгенд и хотел попасть на военный флот, однако подвело слабое зрение, и его направили в торговый флот. Он оказался одним из тех, кто пережил гибель корабля, который начал в качестве туристического лайнера, затем превратился в госпиталь, позднее в плавучую казарму и, наконец, стал транспортным судном для беженцев; после войны он принялся собирать материалы, связанные со светлыми и темными сторонами истории «Вильгельма Густлоффа». Его целиком захватила эта тема, он жил единственно ею.

Уверен, что мать была бы счастлива познакомиться с изысканиями Хайнца Шёна. Но если на Западе для его книг нашелся издатель, то в ГДР они были нежелательны. Впрочем, читатели его книг хранили молчание. Как на Западе, так и на Востоке. Разыскания Шёна оставались невостребованными. Даже снятый в конце пятидесятых годов игровой кинофильм

«Ночь над Готенхафеном», где Шён выступил в качестве консультанта, не вызвал особого интереса. Правда, недавно телевидение показало документальную передачу на эту тему, однако дело до сих пор обстоит так, будто ничто не может превзойти катастрофу «Титаника», будто «Вильгельма Густлоффа» вообще не существовало, будто для подобной трагедии среди прочих известных уже нет места и следует скорбеть об одних погибших, не помяная других.

Вот и я предпочитал помалкивать, уходить в тень, пока на меня не оказали давление. Если же теперь я, принадлежа, подобно Шёну, к числу переживших катастрофу, начинаю испытывать к нему определенное сочувствие, то, пожалуй, прежде всего потому, что могу воспользоваться плодами его одержимости. У него собраны все данные: количество кают, запасы провианта, размеры солнечной палубы в квадратных метрах, количество спасательных баркасов по штатному расписанию и фактическое отсутствие некоторых из них на момент катастрофы, и, наконец, он приводит уточненное число погибших и выживших, растущее с каждым новым тиражом. Его скрупулезность долгое время оставалась не вознагражденной вниманием, однако теперь Хайнца Шёна, который всего на год старше матери и которого я даже мог бы представить в свое оправдание моим отцом, все чаще цитируют в Интернете.

Там недавно развернулись дискуссии вокруг голливудского блокбастера под названием «Титаник», который подавался как история величайшей морской катастрофы всех времен и народов. Хайнц Шён опроверг подобную чепуху рядом конкретных цифр. Разумеется, это вызвало определенный резонанс, в результате чего «Вильгельм Густлофф» поднял в киберпространстве виртуальную волну, что не замедлило отразиться на исполненных ненависти пропагандистских сайтах правых экстремистов. Там началась очередная травля евреев. «Отомстим за Вильгельма Густлоффа!» – требовали правые экстремисты, словно убийство в Давосе произошло не далее чем вчера. Особенно громкие голоса – сайт Цюнделя – раздавались из Америки и Канады, но и немецкая Сеть запестрела юдофобскими серверами, вроде «Национальное сопротивление» или «Thulenet»¹³.

Среди первых в их числе оказался и сервер www.blutzeuge.de, не отличавшийся, впрочем, особым экстремизмом. Он опубликовал историю корабля, ставшего легендой не потому, что тот затонул, а потому, что его гибель замалчивали, зато теперь эта легенда привлекала к себе интерес многих тысяч пользователей Интернета. Мой боец-одиночка, который успел обзавестись личным идейным и по-спортивному злым противником, с детской наивной гордостью поведал миру через Сеть о том, как «Вильгельм Густлофф» оказал помощь англичанам, потерпевшим кораблекрушение. Он цитировал статьи из британских газет с похвалой в адрес немецких спасателей с таким энтузиазмом, словно на газетах еще не просохла типографская краска и будто речь шла о свежайшей новости. Он поинтересовался у своего идейного противника, дошло ли известие о героизме немецких спасателей до еврея-убийцы Франкфуртера, отбывающего свой срок в тюрьме Кура. Давид ответил: «Арестанты сидят там целыми днями за ткацкими станками, им некогда читать газеты».

Вероятно, в свою очередь для Давида был бы интересен вопрос, мог ли знать курсирующий в прибрежных водах Балтики офицер-подводник по фамилии Маринеско о спасении экипажа с углевоза «Regaway» командой «Вильгельма Густлоффа», поскольку таким образом капитан, может быть, впервые услышал название корабля, которому суждено было стать целью для позднейшей атаки. Однако такой вопрос не был задан. Зато Вильгельм восторженно поведал о том, как несколько позже лайнер был использован у британских берегов в качестве «плавучего избирательного участка», причем эмоциональный накал репортажа поднялся опять-таки до столь высокого градуса, будто этот успешный пропагандистский трюк был изобретен прямо сейчас, а не почти шестьдесят лет тому назад.

Имелся в виду референдум по вопросу о фактически уже совершенном присоединении Австрии к великому германскому Рейху. Немцам и австрийцам, проживавшим в Англии, предоставили тем самым возможность принять участие в референдуме. Лайнер брал

избирателей на борт в Тилбери, а голосование проводилось за пределами трехмильной зоны. После этого между Вильгельмом и Давидом вновь разгорелся спор. Они обменивались выпадами, как в настольном теннисе: обсуждался ход голосования. Вильгельм настаивал, что все условия для тайного волеизъявления были обеспечены установкой специальных кабинок; Давид ехидно указывал на то обстоятельство, что из примерно двух тысяч голосовавших всего четыре человека высказались против присоединения Австрии: «Неужели не известно, как достигаются подобные 99,9 %!» Вильгельм, ссылаясь на заметку из «Дейли телеграф» от 12 апреля 1938 года, возражал: «Никакого давления не оказывалось! Это, мой дорогой Давид, подтверждают британцы, которые не упускают ни малейшего случая расчехлостить нас, немцев...»

Меня забавляла их бессмысленная перепалка. Но насторожила одна из реплик Вильгельма. Ведь я уже слышал это! Парируя язвительные Замечания Давида, Вильгельм не удержался от следующего заявления: «Твои хваленые демократические выборы служат исключительно интересам плутократов и всемирного еврейства. Все это – сплошное надувательство!»

Совсем недавно нечто подобное прозвучало из уст моего сына. Мы увиделись с Конни по случаю моего очередного визита, в разговоре я по-отцовски снисходительно упомянул о своей последней статье, посвященной предстоящим выборам в ландтаг федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, а в ответ услышал: «Все это – сплошное надувательство. На Уолл-стрит или у нас – везде хозяйничают плутократы, всем правят деньги!»

Вслед за первым плаванием на Мадейру, когда умер капитан Люббе и от Лисабона до конца маршрута временное командование принял на себя капитан Петерсен, начались летние круизы к норвежским берегам, теперь уже с капитаном Бертрамом. Всего таких круизов было одиннадцать, каждый длился пять дней; они пользовались особой популярностью, и поэтому все места па них были немедленно раскуплены. На следующий год эти круизы также вошли в программу СЧР. В одном из плаваний к фьордам – кажется, предпоследнем, пришедшемся на середину августа, – и приняли участие родители матери.

Вообще-то руководство окружной партийной организации Лангфура отобрало для норвежского круиза кандидатуру хозяина столярной мастерской Либенау с супругой, поскольку мастеру принадлежал пес по кличке Харрас, который в свое время был отправлен на случку в полицейский питомник служебного собаководства, а Принц, щенок из получившегося выводка, был подарен окружной партийной организацией Вождю и стал его любимой собакой, о чем неоднократно писала местная газета «Данцигер форпостен». Я слыхивал эту легенду от матери с детских лет, всю родословную этого пса, которая заняла бы целый роман. Каждый раз, когда заходила речь о собаке, начинался и рассказ о девочке Тулле. Например, мать вспоминала, что после смерти ее брата Конрада, который утонул, купаясь в море, она на целую неделю залезла в собачью конуру. За это время не сказала никому ни единого слова. «Даже ела из собачьей миски. Требуху! Чем обычно кормят собак. Такая уж была неделя, когда я ни словечка сказать не могла, так горевала по нашему Конраду. Он ведь глухонемым уродился...»

Но когда хозяину пса, мастеру Либенау, сын которого, Харри, доводился матери кузенком, поступило предложение принять участие в популярном норвежском круизе на лайнере СЧР, он, выразив сожаление, отказался со ссылкой на большую загрузку в мастерской: неподалеку от аэродрома спешно строились бараки. Он предложил окружному партийному руководству замену – своего прилежного помощника, надежного партийца Августа Покрифке с супругой Эрной. Оплату каюты, льготного проезда до Гамбурга и обратно брала на себя производственная касса столярной мастерской.

«Если бы сохранились фотографии, которые были сняты на „Густлоффе“, я бы тебе показала все, что они повидали за несколько дней...» Особенно большое впечатление произвели на мать Туллы Фольклорный зал, Зимний сад, общее хоровое пение по утрам, музыкальные вечера с оркестром. К сожалению, на берег, чтобы посмотреть фьорды, никого

не пускали – видимо, у Рейха были проблемы с валютой. Но одна из фотографий, которая вместе с другими снимками и семейным альбомом пропали, когда «потонул корабль», запечатлела Августа Покрифке смеющимся и пляшущим вместе с норвежской фольклорной группой, которая выступала на лайнере. «Папа мой всегда был весельчаком, а уж когда из Норвегии вернулся, то радовался с утра до вечера. Он во всем был такой упертый. Потому и хотел, чтобы я вступила в Союз немецких девушек. Только я не хотела. Да и потом, когда уж мы в Рейхе очутились и вступать в Союз стало обязательно, я все равно заупрямилась...»

Похоже, мать говорила правду. Любые организации были ей не по нутру, она не умела подчиняться. Если уж что делала, так по собственной воле. Даже став членом СЕПГ и успешно руководя бригадой, которая изготавляла тоннами спальные гарнитуры для русских, а позднее перевыполняя плановые задания по выпуску мебели для типовых жилых кварталов, она ухитрилась нажить себе неприятностей, поскольку ей везде чудились ревизионисты и прочие классовые враги. Зато когда я по собственной воле вступил в ССНМ, она принялась ругаться: «Неужели мало того, что я горбачусь на этих прохвостов!»

Наверное, сын мой многое унаследовал от бабки. Должно быть, в нем говорят гены, как утверждает моя прежняя супруга. Во всяком случае, Конни противился вступлению в любую организацию, даже в Гребной клуб Ратцебурга, не говоря уж о бойскаутах, что ему настойчиво рекомендовала Габи. Она твердила мне: «Он типичный индивидуалист, не поддающийся социализации. Мои знакомые учителя говорят, что его сознание абсолютно фиксировано на прошлом, хоть он и интересуется техническими новинками, например компьютерами и современными средствами электронной коммуникации...»

Ну конечно! Ведь именно мать подарила моему сыну «Макинтош» со всеми приамбасами, а произошло это вскоре после встречи на балтийском побережье, в курортном городке Дампе, куда съехались те, кто пережил катастрофу «Густлоффа». Ему исполнилось всего пятнадцать, когда благодаря ей он подсел на этот наркотик, которым стал для него компьютер. Именно она сбила мальчика с толку. Во всяком случае, тут мы с Габи едины во мнении, что все беды начались с покупки компьютера.

У меня всегда вызывали недоумение люди, способные уставиться в одну точку и буравить ее, пока не пойдет дым, не разгорится пламя. Таков был, например, Густлофф, который был заиклен на преданности Вождю, или Маринеско, который в мирное время упорно отрабатывал атаки на корабли противника, или Давид Франкфуртер, который вначале задумал самоубийство, но впоследствии решил подать знак своему народу, призывая его к сопротивлению, и потому продырявил четыремя выстрелами другого человека.

Рольф Лисси снял в конце шестидесятых годов игровой фильм об этом рыцаре печального образа. Я посмотрел дома видеокассету черно-белого фильма, который давно сошел с киноэкранов. Лисси довольно корректно обращается с фактическим материалом. Его студент-медик носит вначале берет, позднее шляпу, ужасно много курит, глотает таблетки. Покупая в старом центре Берна револьвер, он платит за две дюжины патронов три франка семьдесят раппенов. В отличие от моего изложения событий Франкфуртер надевает шляпу и пересаживается с кресла на стул перед тем, как Густлофф, одетый в штатское, заходит в свой кабинет, а потом так и стреляет со шляпой на голове. Сдавшись давосской полиции и бесстрастно изложив свое признание, подобно тому как школьник читает вызубренное наизусть стихотворение, Франкфуртер выкладывает на стол дежурного револьвер в доказательство содеянного.

Чего-либо нового фильм не содержит. Интересны документальные фрагменты еженедельной кинохроники, которые запечатлели снегопад и гроб, покрытый знаменем со свастикой. Заснежен весь Шверин, по которому движется траурная процессия. Вопреки газетным сообщениям лишь немногие люди встречают гроб вскинутой для приветствия рукой. Актер, исполняющий роль Франкфуртера, выглядит на процессе, теснясь на скамье между двух полицейских, довольно тщедушным. Он говорит: «Густлофф был единственным,

кто оказался для меня достигаем...» И еще: «Я хотел уничтожить заразу, а не конкретного человека...»

Далее фильм показывает, как Франкфуртер вместе с другими арестантами целыми днями просиживает за ткацким станком. Проходит время. Становится заметно, что уже за первые годы заключения в тюрьме Зенхоф кантона Кур, пока – будто это происходит в ином фильме – Маринеско отработывает в прибрежных восточных районах Балтики срочное погружение после атаки из надводного положения, а лайнер «Вильгельм Густлофф» совершает в сезоны белых ночей круизы к норвежским фьордам, Франкфуртер постепенно избавляется от своего костного заболевания: теперь он стал круглощеким, упитанным и больше не курит.

Нет, конечно, в фильме Рольфа Лисси не появляются ни лайнер СЧР, ни советская подлодка; здесь лишь снова и снова возникают ткацкие станки, по равномерному стуку которых и по ползущей из-под них холстине ощущается течение времени. И всякий раз тюремный врач сообщает Франкфуртеру, что заключение оказывает благотворное воздействие на его здоровье. Все выглядит так, будто преступник искупил свою вину и сделался иным человеком, однако я остаюсь при своем мнении: мне чужд, у меня вызывает недоумение любой человек, который упорно преследует одну-единственную цель, как, например, мой собственный сын...

Она внушила ему эту цель. За это, мать, я ненавижу тебя, и за то, что ты родила меня, когда тонул корабль. Временами мне ненавистно и то, что я остался в живых, ведь если бы ты, мать, услышав команду «Спасайся, кто может!», прыгнула бы, беременная на последнем сроке, за борт, то, несмотря на надетый поверх живота спасательный пояс, ты замерзла бы в ледяной воде или тебя утащила бы за собой воронка тонущего корабля, а вместе с тобою и меня, не успевшего выйти из твоей утробы...

Но нет. Пока еще рано переходить к переломному моменту моей случайно осуществившейся биографии, поскольку лайнеру еще предстоит множество мирных круизов в рамках программы «Сила через радость». Десять раз он огибал итальянский сапожок, включая Сицилию, причем в Палермо и Неаполе отпускникам разрешалось сойти на берег, поскольку Италия с ее образцовым фашистским порядком считалась дружеской страной: здесь, как и дома, приветствовали вскинутой правой рукой.

После ночного переезда поездом тщательно отобранные пассажиры поднимались на борт лайнера в Генуе. Следовало плавание до Венеции, откуда возвращались опять поездом. Все чаще в круизах принимали участие большие шишки из партийных и деловых кругов, что несколько нарушало гармонию бесклассового общества на лайнере СЧР. Например, в один из круизов был приглашен знаменитый создатель народного автомобиля – «фольксвагена», который вначале назывался «автомобилем СЧР»; профессор Порше особенно заинтересовался сверхсовременным машинным отделением лайнера.

Перезимовав в Генуе, к середине марта «Вильгельм Густлофф» вернулся в Гамбург. Спустя несколько дней был спущен на воду «Роберт Лей»; теперь флотилия СЧР насчитывала тринадцать судов, однако на некоторое время туристические круизы для рабочих и служащих были отложены. Семь судов флотилии, среди них «Роберт Лей» и «Вильгельм Густлофф», вышли вниз по Эльбе без объявления маршрута и без пассажиров; лишь в районе Брунсбюттеля был вскрыт запечатанный пакет с приказом, который определял конечную цель плавания – испанский порт Виго.

Впервые суда СЧР были задействованы для переброски войск. Закончилась гражданская война, победителями из которой вышли генерал Франко и его фалангисты, поэтому сражавшиеся на их стороне с 1936 года немецкие добровольцы легиона «Кондор» могли вернуться домой.

Разумеется, всеядная Сеть не оставила без внимания столь известное войсковое соединение. Первым о возвращении восьмидесят восьмого зенитного полка ВВС подробно сообщил сайт www.blutzeuge.de. Говорилось об этом так, будто победившие красных

легионеры вернулись домой на борту «Вильгельма Густлоффа» лишь вчера. Мой редактор-одиночка выступил с сольным номером, чат он закрыл, не пожелав выпускать на сцену дуэт «Вильгельм против Давида», которому пришлось бы обсуждать бомбардировку баскского города Герника «юнкерсами» и «хейнкелями», хотя фотографии этих самолетов, пикирующих или сбрасывающих бомбы, сопровождали репортаж о победителях.

Вначале сей представитель «Соратничества Шверин» выступал довольно сдержанно, ограничившись военно-историческими аспектами события и указав, что гражданская война в Испании предоставила замечательную возможность опробовать новые виды оружия, подобно тому как некоторое время назад война в Персидском заливе позволила американцам испытать новые ракетные системы. Однако в текстах, появившихся на сайте немного позднее, уже говорилось о легионе «Кондор» только в самых восторженных тонах. Видимо, мой редактор вновь обратился к книге Хайнца Шёна, добросовестно собравшего о данном событии разнообразную информацию, ибо теперь он сообщал о возвращении лайнера и о торжественном приеме, оказанном победителям, с таким же восхищением, как это делал автор книги. Подобно летописцу истории «Вильгельма Густлоффа», которого он постоянно цитировал на своем сайте, неугомонный редактор избрал для себя как бы роль очевидца: «на борту лайнера царило чертовское веселье...», он не преминул отметить «бурные овации», когда легионеров приветствовал генерал-фельдмаршал Геринг. Упоминался даже «Марш прусских гренадеров», игравшийся военным оркестром, когда «Вильгельм Густлофф» и «Роберт Лей» швартовались в гамбургском порту, а в виде своего рода музыкальной иллюстрации на сайте приводился нотный фрагмент этого марша.

Пока «Вильгельм Густлофф» использовался в качестве военно-транспортного судна, а Давид Франкфуртер, поправивший здоровье, отсиживал третий год в тюрьме Зенхоф, Александр Маринеско продолжал свою боевую подготовку в прибрежных водах Балтики. Архив Краснознаменного Балтийского военно-морского флота сохранил материалы о подлодке М-96, согласно которым командиру удалось настолько отработать с экипажем срочное погружение после учебной атаки из надводного положения, что ими был достигнут рекордный показатель 19,5 секунды, в то время как средний показатель по другим ПЛ составлял 28 секунд. М-96 была хорошо подготовлена для боевых операций. Что же касается сервера «Соратничества Шверин», то он все больше напоминал строчку из песни «Час искупления пробил...»¹⁴; хоть и оставалось не вполне ясным, за что именно здесь грозят отмщением; репетиции пока не состоялись, но готовность демонстрировалась.

Мне не удавалось избавиться от навязчивой мысли, что здесь действовал не один из вечно вчерашних, вроде моей матери, которые стараются вновь подогреть коричневое варево, живут ностальгией по прошлому и подобно треснутой, заезженной пластинке поют осанны тысячелетнему Рейху, а скорее молодой человек, эдакий интеллигентный скинхед или какой-нибудь закомплексованный гимназист, нашедший отдушину во всемирной Паутине. Однако я не пытался развеять собственные подозрения, не докапывался до истины, не хотел сознаваться в том, что некоторые из выражений, встреченных мною в Интернете – например, сама по себе совершенно безобидная фраза «лайнер Вильгельм Густлофф был великолепен», – казались мне чрезвычайно знакомыми. Это было не совсем похоже на мать, однако тем не менее...

Меня томила догадка, которую я постоянно гнал от себя: возможно, нет-нет, это был мой собственный сын, который на протяжении уже нескольких месяцев.. Неужели это Конни... Конни...

Довольно долго за догадкой следовал вопросительный знак: разве это может быть твой сын, твоя плоть и кровь? Разве может молодой человек, воспитанный в довольно лево-либеральном духе, быть сбитым с толку и уйти так далеко вправо? Ведь Габи непременно почувствовала бы неладное, разве не так?

А потом редактор, которого я все еще предпочитал не узнавать, поведал на своем сайте историю, которая была мне слишком хорошо известна: «Жил-был маленький мальчик, который уродился глухонемым и утонул во время купания. А вот его сестра, которая сильно-пресильно любила его и которая много лет позднее пыталась спастись от бедствий войны на большом корабле, не утонула, хотя тот корабль, полный беженцев, был расстрелян тремя вражескими торпедами и его поглотила ледяная морская пучина...»

Меня словно обожгло: ведь это он! Мой сын рассказывает всему миру свою историю на сайте, разрисованном забавными человечками. Не скрывает интимных подробностей, говорит прямо, без обиняков: «Сестра же Конрада, которая после смерти своего кудрявого братца трое суток кричала, а потом замолчала на целую неделю, – это моя дорогая бабушка, которой я от имени Соратничества Шверин клянусь ее белыми волосами говорить правду и только правду: всемирное еврейство желает навеки пригвоздить нас, немцев, к позорному столбу...»

И так далее. Я позвонил матери, но тут же получил отпор: «Новое дело! Тебя столько лет не интересовал наш Конрадхен, а теперь что-то померещилось, и ты строишь из себя заботливого папашу...»

Созвонился я и с Габи и наконец отправился на выходные в Мельн, в это сонное захолустье, даже цветы прихватил. Выяснилось, что Конни уехал в Шверин навестить бабушку. Когда я попытался поделиться своими тревогами, то Габи и слушать меня не захотела: «Я запрещаю тебе вести в моем доме подобные разговоры и подозревать моего сына в общении с правыми экстремистами...»

Стараясь сохранять выдержку, я напомнил, что в Мельне, этом идиллическом городке, три с половиной года назад состоялись поджоги двух домов, где жили турки¹⁵. Все газеты поспешили опубликовать специальные репортажи с места события. Мне тоже, пришлось изготовить несколько сообщений для информационных агентств. Даже за границей забеспокоились, поскольку в Германии, дескать, опять... Что ни говори, а ведь погибли три человека. Правда, нескольких подростков поймали, в двух случаях вынесены суровые приговоры с большими сроками, но ведь возможно, что возникла новая организация и какие-нибудь отморозенные скинхеды попытались подключить к себе нашего Конни. Здесь, в Мельне, или же в Шверине...

Она рассмеялась мне в лицо: «Неужели ты можешь себе представить, чтобы наш Конни связался с этими горлопанам? Нет, правда. Разве пойдет в стаю такой индивидуалист, как он? Смешно. Зато подобные подозрения весьма типичны для того рода журналистики, которой ты всегда занимался по чьему-либо заказу».

Не щадя меня и не скупясь на красочные детали, Габи припомнила мои дела почти тридцатилетней давности, когда я работал на газеты Шпрингера, мои тогдашние «параноидально злобные нападки на левых»: «Кстати говоря, если уж кто и является втайне правым экстремистом, так это ты сам, до сих пор...»

Ладно-ладно. Я сам прекрасно знаю глубины собственного падения. Знаю, как бывает трудно удержаться на краю. Стараюсь оставаться посередке. Обычно держу нейтралитет. Если же получаю заказ, неважно от кого, то лишь излагаю факты, зато делаю это добросовестно и обстоятельно.

Вот и сейчас я хотел все узнать от самого Конни, поэтому снял номер в отеле с видом на озеро, неподалеку от бывшей супруги. Я несколько раз звонил ей, чтобы поговорить с сыном. В воскресенье вечером он наконец вернулся, приехал из Шверина на автобусе. По крайней мере, высоких десантных ботинок он не носил, был одет в джинсы и пестрый норвежский свитер, на ногах обычная обувь. Выглядел он вполне прилично и свою от природы вьющуюся шевелюру не сбрил. Очки делали его эдаким умником. На меня он внимания не обращал, почти не разговаривал, лишь перекинулся несколькими словами с матерью.

После совместного ужина – салат, бутерброды и яблочный сок – Конни намеревался уйти к себе, но я перехватил его в коридоре. Начал нарочито пустяковые расспросы: как дела

в школе, есть ли у него друзья или, может, подруга, каким спортом занимается, оказался ли полезен дорогой бабушкин подарок, о цене которого я примерно догадывался; поинтересовался, что дает ему компьютер и вообще современные средства коммуникации и какие темы особенно увлекают его в Интернете, если он и впрямь пристрастился к нему.

Пока я говорил все это, он вроде бы слушал. Мне даже показалось, что его необычно маленький рот слегка скривила улыбка. Он улыбался! Сняв очки, он вновь надел их, но смотрел, как это было и за ужином, будто сквозь меня. Ответ его прозвучал совсем тихо: «С каких пор тебя интересует, чем я занимаюсь?» Возникла небольшая пауза, и сын тут же оказался на пороге своей комнаты, после чего добавил: «Беду исторические разыскания. Такой ответ устраивает?»

Дверь закрылась. Может, надо было крикнуть вслед: «Я тоже! Конни, я тоже! Собираю старые истории. Об одном корабле. В мае тридцать девятого он доставил домой около тысячи добровольцев победоносного легиона „Кондор“. Только кого это сегодня волнует? Может, тебя, Конни?»

4

Во время очередной встречи, которые он устраивает, называя их рабочими совещаниями, им было сказано: вообще-то любой сюжет, так или иначе связанный с Данцигом и его окрестностями, должен был бы остаться за ним самим. Он и никто другой был бы должен рассказать, будь то в краткой или же пространной форме, обо всем, что связано с этим кораблем, о том, как он получил свое название и как использовался во время войны, и, наконец, об его гибели в районе Штольпебанк. Вскоре после публикации толстого романа «Собачьи годы» к нему поступила гора материалов. Ему бы самому – а кому ж еще? – и следовало бы разобрать эту гору, слой за слоем. Ведь имелось немало свидетельств о судьбе семьи Покрифке, прежде всего о Тулле. Можно было по крайней мере догадаться, что остаток семьи – оба старших брата Туллы погибли на фронте – присоединился к тысячам и тысячам беженцев, которым в последний миг удалось попасть на забитый до отказа «Вильгельм Густлофф» вместе с беременной Туллой.

Но, к сожалению, заключил он, этой темой он заняться не удосужился. Это его упущение и даже, как ни прискорбно в том признаться, его фиаско. Он, дескать, не ищет для себя оправданий, а в качестве объяснения может сказать лишь следующее: к середине шестидесятых прошлое набило ему оскомину, а ненасытное настоящее с его постоянным «сейчас-сейчас-сейчас» помешало своевременно изложить эдак на двух сотнях страниц... А теперь поздно. Впрочем, меня он отнюдь не выдумал в качестве эрзаца, просто сделал после долгих поисков в списках уцелевших счастливую находку. Личность не слишком примечательная, но для отведенной роли вполне подходящая: ведь мое рождение совпало с гибелью корабля.

А еще он сказал, что сожалеет насчет моего сына, однако не мог даже предположить, что за одиозным сервером www.blutzeuge.de кроется внук Туллы, хотя вряд ли стоит удивляться тому, каким уродился внук у Туллы Покрифке. Ведь она всегда отличалась склонностью к экстремизму, и, судя по всему, ничто не сумело сломить ее упрямой натуры. Под конец он попытался ободрить меня: дескать, теперь черед вновь за мной, следует продолжить повествование о том, что приключилось с лайнером, после того как он переправил пресловутый легион «Кондор» из испанского порта в Гамбург. Наверное, можно было бы ограничиться словами: а потом началась война. Нет, пока не время. До этого еще долго тянулось прекрасное лето, и лайнер СЧР успел совершить по привычным маршрутам полдюжины норвежских круизов. Правда, сходить на берег так и не разрешалось. В круизах участвовали преимущественно рабочие и служащие из Рура и Берлина, Ганновера и Бремена. Были и небольшие группы заграничных немцев. Лайнер входил в Би-фьорд, откуда фотолюбителям открывался вид на город Берген. Программа включала также Хардангер-фьорд и, наконец, Согне-фьорд, где делалось на память особенно много фотографий. До

июля замечательным приложением к программе бывали белые ночи, оставлявшие незабываемые впечатления. Теперь цена пятидневного круиза, слегка повысившись, составляла сорок пять рейхсмарок.

Но и потом война началась не сразу, а «Вильгельм Густлофф» стал использоваться в целях развития физической культуры. На протяжении двух недель в Стокгольме проходило вполне мирное спортивное мероприятие – «Лингиада», названная так в честь Пера Хенрика Линга, который, видимо, сыграл для шведского физкультурного движения такую же роль, как для Германии «отец немецкой гимнастики» Фридрих Людвиг Ян. Туристический лайнер превратился в плавучее общежитие для тысячи одетых в одинаковую спортивную форму физкультурников и физкультурниц, среди которых были девушки из «Трудовой повинности»¹⁶, национальная сборная гимнастов на перекладине, несколько ветеранов, которые до сих пор исполняли упражнения на брусьях, а также спортивные группы общества «Вера и красота»¹⁷ и, наконец, множество детей, выдрессированных для заполнения целых стадионов с демонстрацией коллективных физкультурных упражнений.

Капитан Бертрам не подошел к причалу, лайнер встал на якорь в виду города. Моторные баркасы, организовав регулярное сообщение, перевозили физкультурников на берег и обратно. Это позволяло держать их под присмотром. Каких-либо особых происшествий отмечено не было. По моим материалам, подобное мероприятие было оценено как большой успех в деле укрепления дружеских связей между Германией и Швецией. Руководители всех спортивных коллективов получили от имени шведского короля специальный памятный значок. 6 августа 1939 года «Вильгельм Густлофф» вернулся в Гамбург. Туристическая программа СЧР немедленно возобновилась.

Но тут уж действительно началась война. Когда лайнер последний раз в мирное время держал курс на норвежские берега, в ночь с 24 на 25 августа пришла шифрограмма, которая содержала указание вскрыть находившийся в капитанской каюте и запечатанный сургучом пакет, после чего капитан Бертрам в соответствии с приказом «QWA 7» прервал круиз и – ни о чем не оповестив пассажиров, дабы уберечь их от излишнего беспокойства, – взял курс на родную гавань. Через четыре дня после прибытия началась Вторая мировая война.

Конец программе «Сила через радость». Конец морским круизам. Конец фотографиям на память и беседам на солнечной палубе. Конец веселью, конец бесклассовым компаниям отпускников. Теперь эта организация, входящая в состав Германского трудового фронта, перешла на развлекательное обслуживание всех частей вермахта, а также раненых, число которых пока росло небыстро. Театры СЧР преобразовались во фронтовые театры. Суда флотилии СЧР перешли под командование военно-морского флота, в том числе и «Вильгельм Густлофф», переоборудованный под плавучий госпиталь на пятьсот коек. Часть экипажа, работавшего в мирное время, была заменена на медицинский персонал. Сам лайнер, благодаря широкой зеленой полосе по борту и красным крестам по обе стороны трубы, приобрел новый вид.

Получив данные опознавательные знаки, установленные международными соглашениями, «Вильгельм Густлофф» отправился 27 сентября в восточный район Балтийского моря, миновал острова Зеландия и Борнхольм и благополучно достиг Данциг-Нойфарвассера, где еще недавно на Вестерплатте шли бои. Тут же были приняты на борт несколько сотен раненых поляков, а также десять раненых членов экипажа с немецкого тральщика М-85, натолкнувшегося на польскую мину; других поступлений со своей стороны пока не было.

А как пережил начало войны находящийся на нейтральной швейцарской территории арестант Давид Франкфуртер, который невольно способствовал меткими выстрелами тому, что корабль, ставший теперь плавучим госпиталем, получил свое имя? Вероятно, 1 сентября в тюрьме Зенхоф не произошло каких-либо отклонений от привычного распорядка дня; однако с этих пор по поведению заключенных можно было почувствовать, как развивались

16

17

события на театрах военных действий, поскольку в одних случаях к еврею Франкфуртеру относились с осуждением, в других – с известным почтением. Надо полагать, доля антисемитов внутри тюрьмы примерно соответствовала той, которая существовала за ее стенами, то есть соблюдалось характерное для Швейцарии определенное равновесие.

А что поделывал капитан Маринеско, когда в Польшу вошли сначала немецкие войска, а затем – согласно гитлеровско-сталинскому пакту – русские? Он все еще оставался командиром двухсотпятидесятитонной подлодки М-96 и, так как приказа о военных операциях еще не поступало, продолжал отрабатывать со своим экипажем численностью в восемнадцать человек срочные погружения в восточных районах Балтийского моря. Во время увольнений он по-прежнему закладывал за воротник, за ним числилось несколько приключений с женщинами, однако до служебных расследований дело не доходило, а потому он, вероятно, мечтал получить под свое командование нечто более внушительное, нежели ПЛ, вооруженную всего двумя торпедами.

Говорят, мы крепки задним умом. Сейчас-то я знаю, что у моего сына были кое-какие связи с бритоголовыми. Несколько этих типов водилось в Мельне. После событий, в результате которых погибли люди, за местными скинхедами, видимо, следили, поэтому заявлять о себе им приходилось в Висмаре или же во время более крупных встреч, проходящих по земле Бранденбург. В Мельне Конни сохранял по отношению к ним некоторую дистанцию, но в Шверине, где он регулярно проводил у бабушки не только выходные, но и часть своих каникул, он выступил перед съехавшимся из мекленбургских окрестностей сборищем бритоголовых с докладом, который показался слушателям излишне затянутым, так что доклад пришлось по ходу сокращать, хотя подготовлен он был тщательно, в письменном виде и посвящался Мученику и великому сыну Шверина.

Во всяком случае, Конни удалось поначалу заинтересовать своей темой местных молодых нацистов, которые обычно ограничивались малеванием идиотских ксенофобских призывов на стенах и травлей иностранцев, и даже организовать эту банду в «Соратничество имени Вильгельма Густлоффа». Позднее было установлено, что выступление Конни состоялось в заднем помещении ресторанчика на Шверинерштрассе. Набралось около полусотни слушателей, среди них члены праворадикальной партии, а также просто любопытствующие, представители, так сказать, средних слоев. Мать не присутствовала.

Пытаюсь представить себе, как мой сын, худой и долговязый, в очках и с кудрявой шевелюрой, в своем норвежском свитере, выглядел среди бритоголовых. Он, предпочитающий любому алкоголю фруктовые соки, среди здоровенных парней, вооруженных пивными бутылками. Он, со своим по-юношески высоким, постоянно срывающимся голосом, среди заглушающих его зычных плоток. Он, одиночка, среди удушливого пота человеческих тел.

Нет, он не пытался подстроиться под них, остался чужим в этой компании, отталкивающей от себя любое инородное тело. Он никогда бы не опустил до ненависти к туркам, до избияния негров в качестве времяпрепровождения на досуге, до оголтелой вражды к азиатам. Поэтому в его выступлении не прозвучало призывов к насилию. Описывая убийство в Давосе, он с бесстрастностью криминалиста детально проанализировал мотивы преступления, и хотя указал, как это делал в своем сайте на «всемирное еврейство» и «связанных родственными узами еврейских плутократов», которые, по его мнению, стояли за убийством, однако в заготовленном тексте его выступления отсутствовали как брань в адрес «еврейских свиней», так и призывы «покончить с жидами». Даже требование восстановить мемориал на южном берегу Шверинского озера, «на том же самом месте, где он был сооружен в 1937 году в честь Мученика», было сформулировано в виде ходатайства, выдержанного в духе общепринятых демократических норм. Но когда он предложил юридически оформить его как гражданскую инициативу, адресованную мекленбургскому ландтагу, в ответ раздался издевательский хохот. Жаль, что там не было матери.

Конни справился с этим и перешел к истории корабля, начав с его спуска на воду. Сообщая о целях и задачах организации «Сила через радость», он допустил излишние длинноты. Зато определенный интерес среди собравшихся любителей пива вызвал его рассказ о том, как лайнер, переоборудованный под плавучий госпиталь, использовался армейскими и флотскими соединениями при оккупации Норвегии и Дании, тем более что в числе перевозимых раненых бывали и «герои Нарвика»¹⁸. Но так как после победоносного захвата Франции до операции «Морской лев», то есть высадки в Англии и соответственно использования лайнера в качестве военного транспорта, дело не дошло, то на очереди оказалась скучная информация о затяжной стоянке «Вильгельма Густлоффа» в Готенхафене, и эта скука передалась слушателям.

Сын не сумел завершить свое выступление. Раздались крики «Кончай болтать!» и «Хватит сопли жевать!», застучали по столам пивные бутылки, поэтому дальнейшую судьбу лайнера, его путь к гибели удалось изложить лишь очень коротко, только до торпедной атаки. Конни проявил выдержку. Все-таки хорошо, что мать отсутствовала. Единственно, чем мог утешиться мальчик, которому еще не исполнилось и шестнадцати, это тем, что в его распоряжении оставался Интернет. Продолжились ли в дальнейшем его контакты со скинхедами, неизвестно.

Он не вписывался в их компанию. Вскоре после этого события Конни принялся готовить доклад, с которым собирался выступить перед преподавателями и учениками своей мёльнской гимназии. Но пока он еще не получил отказа, который не позволил ему обратиться к новой публике, у меня есть возможность пойти по следу дальше и поведать о судьбе «Вильгельма Густлоффа» в годы войны: поступавших раненых оказалось для плавучего госпиталя недостаточно, поэтому он вновь был переоборудован.

Лайнер выпотрошили. К исходу ноября 1940 года исчезла рентгеновская аппаратура. Операционные залы были демонтированы, амбулаторное отделение тоже. Медицинских сестер на борту не осталось, уже не стояли рядами госпитальные койки. Вместе с большинством гражданских членов экипажа были списаны с корабля врачи и санитары, их перевели на другие суда. В машинном отделении сохранили лишь тех, кто был нужен для профилактических работ. Вместо главврача командование теперь принял офицер-подводник в чине корветтенкапитана¹⁹; он стал начальником второго учебного дивизиона для подводников, а корабль превратился в плавучее общежитие и училище, накрепко, впрочем, пришвартованное к причалу. Капитан Бертрам оставался на борту, однако ему больше не приходилось прокладывать курс. Если судить по доступным мне фотографиям, выглядел он вполне импозантно, но его роль, так сказать, резервного капитана была по сути второстепенной. Ему, опытному моряку торгового флота, было непросто привыкнуть к требованиям военного устава, тем более что на судне все переменялось. Вместо портретов Лея появились обрамленные фотографии гросс-адмирала²⁰. Курительный салон на нижней прогулочной палубе стал офицерской кают-компанией. Большие столовые предназначались теперь для кормежки унтер-офицерского и рядового состава. В помещениях носовой части обитала и питалась оставшаяся часть гражданского экипажа. Утратив свою «бесклассовость», «Вильгельм Густлофф» застыл у причала польского портового города Гдыня, которому с началом войны было повелено именоваться Готенхафеном. Застыл на целые годы.

На его борту квартировали четыре роты учебного дивизиона. Имеющиеся у меня документы, которые, кстати говоря, дословно приводятся в Сети и дополнены иллюстрациями – мой сын воспользовался тем же источником информации, которым теперь пользуюсь я, – свидетельствуют, что, будучи опытным подводником, корветтенкапитан Вильгельм Цан ввел весьма жесткую систему подготовки прибывших на обучение

18

19

20

добровольцев. На трехмесячные курсы для подводников поступали все более молодые матросы, к концу войны брали уже семнадцатилетних. Многим из них наверняка было суждено погибнуть, будь то в Атлантике или Средиземном море, а позднее в походах по самым северным маршрутам к Мурманску, по которым плавали американские конвои с военными грузами для Советского Союза.

Минули сороковой, сорок первый и сорок второй годы с их победами, достойными экстренных информационных сообщений. Шли непрерывные занятия по подготовке смертников²¹, шла далекая от опасностей тыловая жизнь персонала учебки и прочего экипажа, в кино на борту лайнера продолжали демонстрироваться старые и новые фильмы киностудии «Уфа»; помимо этого ничего особенного не происходило в то время, когда на востоке брались в «котел» большие армейские группировки, а африканский корпус занимал в Ливийской пустыне Тобрук, если не считать, конечно, особенным событием выступление гроссадмирала Дёница по случаю его прибытия в Готенхафен-Оксхёфт, которое было запечатлено на сохранившихся официальных фотоснимках.

Оно состоялось в марте сорок третьего. Сталинград уже был проигран. Линии фронта поползли назад. Контроль над воздушным пространством Рейха был давно утрачен, поэтому война приблизилась и к этим краям, хотя целью для бомбардировщиков Восьмого американского военно-воздушного флота служил не соседний Данциг, а Готенхафен. Сгорело госпитальное судно «Штутгарт». Была потоплена плавучая база подводных лодок «Ойпен». Затонули в результате прямых попаданий несколько буксиров, финский и шведский пароходы. Получил повреждения стоявший в доке грузовой транспорт. «Вильгельм Густлофф» отделался дырой на обшивке правого борта. Причиной стала разорвавшаяся в воде неподалеку бомба. Пришлось постоять в ремонтном доке. Затем «плавучая казарма» совершила пробный выход в Данцигскую бухту, где подтвердила свою мореходность.

Капитана лайнера звали теперь уже не Бертрам, а как когда-то, во времена СЧР, Петерсен. Экстренные сообщения о победах отсутствовали, зато сводки информировали об отступлениях на всех участках восточных фронтов, Ливийскую пустыню также пришлось оставить. Все меньше подводных лодок возвращалось из боевых походов. Ковровыми бомбардировками разрушались города, но Данциг с его высокими крышами и башнями еще стоял целый. Столярная мастерская в предместье Лангфура продолжала бесперебойный выпуск оконных рам и дверей для бараков. В эту пору, когда дефицитом стали не только экстренные сообщения, но и масло, мясо, яйца, даже стручковые и бобовые культуры, Тулла Покрифке начала работать в качестве военнообязанной трамвайным кондуктором. Она впервые забеременела, однако устроила выкидыш, совершая прыжки с трамвайной подножки на маршруте между Лангфуrom и Оливой: мать рассказывала об этих прыжках перед остановками так, словно это были спортивные упражнения.

Произошло и еще кое-что. Поскольку Швейцария опасалась оккупации со стороны все еще могущественного соседа, Давида Франкфуртера перевели из тюрьмы кантона Кур в тюрьму одного из франкоязычных кантонов – как указывалось, ради его же безопасности; а командир двухсотпятидесятитонной подлодки М-96, капитан третьего ранга Александр Маринеско получил под свое начало новую ПЛ. За два года до этого он потопил транспортное судно водоизмещением семь тысяч тонн; так следовало из его рапорта, но советское командование флота оценило водоизмещение потопленного судна всего в тысячу восемьсот тонн.

Новая подлодка С-13, о которой Маринеско так долго мечтал в своих трезвых или пьяных грезах, принадлежала к классу «Сталинец». Вероятно, судьба, нет – случай, нет – строгие условия Версальского договора помогли Александру Маринеско стать командиром этой ПЛ, созданной по последнему слову военной техники. После Первой мировой войны Рейху было запрещено строить подлодки, поэтому верфь «Крупп-Германия» в Киле и бременское акционерное общество «Шифмашиненбау», воспользовавшись собственными чертежами и заказом ВМС Рейха, дали подряд гаагской фирме «Ingenieurs Kantoog voor

Scheepsbouw» на строительство сверхсовременной океанской подлодки. Позднее серийное производство других ПЛ класса «Сталинец» осуществлялось уже на советских верфях в рамках германо-советского сотрудничества, в результате чего незадолго до нападения Германии на Советский Союз подлодка С-13 вошла боевой единицей в состав Краснознаменного Балтийского флота. Каждый раз, выходя в поход со своей плавбазы «Смольный» в финском городе Турку, С-13 имела на борту десять торпед.

Проявив изрядную компетентность в области судостроения, мой сын заявил на своем сайте, что подлодка, окончательно спроектированная в Голландии, являлась эталоном «немецкого качества». Вполне возможно. Пока что капитану Маринеско удалось лишь потопить в прибрежных водах Померании океанский буксир «Зигфрид». После того как три торпеды прошли мимо цели, подлодка всплыла и расстреляла буксир из носового орудия калибром 100 мм.

Оставим теперь лайнер там, где он, если не считать воздушных налетов, находится в относительной безопасности, и вернемся, следуя траектории краба, к моим личным невздам. Нельзя сказать, что мне с самого начала стало ясно, во что впутался Конрад. По моему первому впечатлению, речь шла о безобидных юношеских эскападах, которыми он разражался в Интернете, например по поводу сравнения туристических программ СЧР, сделанных из пропагандистских соображений весьма дешевыми, со стоимостью нынешних карибских круизов на современных роскошных лайнерах или с туристическими путешествиями, предлагаемыми фирмой «ТТЛ», при этом, разумеется, от сравнений выигрывал «бесклассовый» «Вильгельм Густлофф» с его путешествиями к норвежским берегам, а также другие суда флотилии Германского трудового фронта. Вот где был истинный социализм, восторженно заявлял он на своем сайте. Дескать, у коммунистов в ГДР так и не вышло устроить нечто подобное. По его словам, их эксперимент закончился неудачей. Они не сумели даже толком достроить после войны огромный комплекс СЧР на острове Рюген, который рассчитывал принимать в мирные времена 20 000 отпускников.

Он требовал «считать остатки этого комплекса СЧР историческим памятником и обеспечить ему соответствующую охрану!», споря со своим, фиктивным, как я долгое время думал, оппонентом Давидом о будущем не только национальной, но и социалистической «народной общпота». Он цитировал как Георга Штрассера, так и Роберта Лея, идеям которого по школьной привычке ставил оценку «отлично». Он говорил о «здоровом теле нации», на что Давид возражал, напоминая о «социалистической уравниловке» и называя Лея «вечно пьяным краснобаем и прожектором».

Изучая в чате этот не слишком увлекательный диалог, я пришел к следующему выводу: чем больше мой сын восхищался организацией СЧР как проектом с далекой перспективой и чем больше он одобрял, несмотря на все недостатки, усилия рабоче-крестьянского государства по созданию туристическо-курортного социалистического рая, тем отчетливее слышался голос его бабки. Стоило мне лишь зайти в чат Конни, как в ушах у меня тотчас начинало звучать неумное нытье этой «вечно вчерашней» старухи.

Именно так агитировала мать и меня, и других. До моего ухода на Запад мне частенько доводилось слышать тирады последней из тех, кто сохранил верность товарищу Сталину, которые произносились за нашим кухонным столом: «Вот что я вам скажу, дорогие товарищи, как с самых низов начинал наш Вальтер Ульбрихт, который был учеником столяра, так с учения столярному делу начинала и я, провонявшая столярным клеем...»

После отставки Первого секретаря у нее возникли проблемы. Не столько из-за моего бегства из ГДР, сколько из-за того, что назвала преемника Ульбрихта «жалким кровельщиком» и что всюду ей мерещились ревизионисты.

И все же мать сумела сохранить свои позиции. Ее любили и боялись одновременно. Она многократно награждалась значком активиста, регулярно перевыполняла план и до последнего времени руководила бригадой столяров на Народном мебельном комбинате, что

находился на Гюстроверштрассе. Благодаря ее же усилиям доля девушек среди учеников, решивших овладеть столярным делом, возросла до двадцати процентов.

Когда рабоче-крестьянское государство приказало долго жить, берлинское Попечительское ведомство, занимавшееся вопросами приватизации предприятий бывшей ГДР, открыло свой региональный филиал в Шверине; мать приняла участие в подготовке приватизационных программ для крупных предприятий, изготавливавших кабели, пластмассовые изделия, или, например, для Заводов судостроительного оборудования имени Клемента Готвальда, не забыв и о своем Народном мебельном комбинате. Можно предположить, что мать при этом «великом хапке» внакладе не осталась, во всяком случае, когда появились новые деньги, ей не пришлось довольствоваться только своей пенсией. Не обеднела она и после того, как подарила моему сыну компьютер с весьма дорогими прибамбасами. Причину подобной щедрости – а по отношению ко мне мать всегда была довольно скаредной – я объясняю событием, которое не наделало большого шума в немецкой прессе, однако сыграло для Конни решающую роль.

Прежде чем поведать о встрече тех, кто уцелел при катастрофе «Густлоффа», необходимо упомянуть об одном проблематичном эпизоде, пусть это даже не понравится тому, кто хотел бы видеть образ своей Туллы более положительным. Это произошло 30 января 1990 года, когда треклятая дата казалась забытой, ибо все вокруг танцевали под мелодию гимна со словами о «Германии, единой отчизне», а восточные немцы сходили с ума от счастья обладания твердой валютой; мать отметила тот день по-своему.

На южном берегу Шверинского озера пребывала в запустениимолодежная туристическая база, двухэтажное здание мышино-серого цвета. Ее построили в начале пятидесятых, назвав в честь Курта Бюргера, твердолобого сталиниста, который был известным антифашистом, после войны вернулся из Москвы в Мекленбург, где удостоился почестей за крайне жесткое проведение партийной линии. Здесь, позади «турбазы имени Курта Бюргера», мать возложила букет роз на длинных стеблях, примерно там, где, обращенный к озеру, стоял большой гранитный памятник Мученику. Она сделала это в темноте, ровно в десять часов во семнадцать минут. Во всяком случае, именно так, точно указав время, она рассказала об этом позднее своей подруге Йенни и мне. Она была в полном одиночестве, с помощью фонарика ей удалось найти позади нежилой из-за зимнего сезона турбазы то место, которое она искала. Довольно долго она сомневалась, но потом, несмотря на темень, низкие тучи и морозящий дождь, решила: здесь. «Только цветы я принесла не Густлоффу. Он-то был лишь одним из многих нацистов, которых поубивали. Нет, корабль мне хотелось помянуть и всех деток, которые погибли тогда в ледяном море, поэтому и возложила я белые розы точно в двадцать два часа восемнадцать минут. А потом поплакала, хоть уже сорок пять лет прошло...»

Спустя пять лет мать уже не была в одиночестве. Ее пригласили господин Шён и дирекция балтийского курорта Дамп, а также попечительский совет организации «Спасение на море»²². Десять лет назад здесь уже проходила встреча тех, кто пережил катастрофу. В первые годы, когда существовали Стена и колючая проволока, из Восточной Германии сюда никто не мог приехать. Теперь же прибыли и те, для кого гибель корабля была событием, которое замалчивалось все эти годы по государственным соображениям. Неудивительно, что гостей из новых восточных земель ФРГ приветствовали особенно сердечно, поскольку среди уцелевших не должно было возникнуть разделения на восточных и западных немцев.

В большом актовом зале над сценой висел транспарант, на котором шрифтами разной величины было написано:

Встреча-мемориал в балтийском курорте Дамп

К 50-летию со дня гибели «Вильгельма Густлоффа»

28-30 января 1995 года

Случайное совпадение этой даты с днем захвата власти нацистами в 1933 году и с днем рождения человека, который был застрелен Давидом Франкфуртером, решившим таким образом дать сигнал своему еврейскому народу, в публичных выступлениях не упоминалось, однако в некоторых частных беседах, будь то за чашкой кофе или же в перерывах официальных мероприятий, достаивалось по крайней мере негромких замечаний.

Мать заставила меня принять участие в этой встрече. Ее аргумент был попросту неопровержим: «Тебе ведь тоже полвека стукнет...» Пригласила она также нашего сына Конни, а поскольку Габи не возразила, то мать и заполучила его в качестве трофея. Приехала она на «трабанте» песочного цвета, который весьма выделялся среди привычных в Дампе «мерседесов» и «опелей». Мои уговоры ограничиться мною и избавить Конни от сентиментальной ностальгии по прошлому мать оставила без внимания. Мое мнение как отца в расчет не принималось, да и вообще в оценке моей персоны мать и моя прежняя супруга были едины, хотя обычно их суждения расходились: для матери я оставался, как она любила говаривать, рохлей; Габи же пользовалась любым поводом, чтобы назвать меня неудачником.

Словом, неудивительно, что два с половиной дня, проведенные в Дампе, оказались для меня весьма тягостными. Слонялся, чувствуя себя идиотом, безостановочно дымил как паровоз. В качестве журналиста я мог бы, конечно, использовать подобное событие для репортажа или хотя бы для небольшой заметки. Видимо, члены попечительского совета даже ожидали от меня чего-то в эдаком роде, поскольку мать поначалу представляла меня «репортером шпрингеровских газет». Я не прекословил, однако, попытавшись сделать записи, не смог двинуться дальше фразы: «Погода – она и есть погода». Да и какую роль я взял бы на себя в репортаже? Родившегося на «Густлоффе»? Или же роль нейтрального свидетеля, как того требовала профессия журналиста?

У матери на все имелся ответ. Обнаружив среди присутствующих нескольких людей, переживших катастрофу, и пообщавшись с некоторыми бывшими членами экипажа миноносца «Лёве», которые сами заговорили с ней, она стала представлять меня при каждом удобном случае уже не шпрингеровским репортером, а «младенцем, родившимся посреди той жуткой катастрофы». Разумеется, не забывала заметить, что тридцатого числа предстоит отпраздновать мое пятидесятилетие, хотя программа предусматривает в этот день час тихого поминовения.

Хотя в день катастрофы и на следующий день родился не я один, однако кроме единственного человека, родившегося 29 января, моих ровесников среди собравшихся в Дампе не нашлось. Присутствовали в основном люди пожилые, поскольку спасти детей практически не удалось. К младшему поколению можно было причислить лишь тогдашнего десятилетнего мальчика из Эльбинга, который теперь жил в Канаде и которого попечительский совет попросил выступить перед публикой с рассказом о подробностях своего спасения.

По вполне понятным причинам свидетелей тогдашней катастрофы остается все меньше. Если на встречу, состоявшуюся в 1985 году, приехало более пятисот спасенных и спасателей, то теперь их едва насчиталось две сотни, что побудило мать шепнуть мне на ухо во время часа поминовения: «Скоро никого из нас не останется в живых, кроме тебя. А ты вот написать не хочешь про все, что я тебе рассказывала».

А ведь это именно я задолго до ликвидации Стены переправил ей по тайным каналам книгу Хайнца Шёна, хотя и признаюсь, что сделал это, чтобы избавиться от ее допекавших меня упреков. А перед встречей в Дампе она получила от меня выпущенную издательством «Ульштайн» книжку в мягкой обложке, написанную тремя англичанами. Но и эта книжка – действительно, вполне объективная, но слишком уж бесстрастная – ей не понравилась: «Не хватает тут личного отношения. Сердца мало!» И однажды, когда я заехал к ней домой с коротким визитом, она сказала: «Вот, может, мой Конрадхен когда-нибудь про все напишет...»

Поэтому она и взяла его с собою в Дамп. Она пришла, нет, явилась на встречу в длинном, наглухо закрытом платье из черного бархата, которое контрастировало с ее короткими белыми волосами. Где бы она ни возникала, например за кофейным столиком, она всюду оказывалась в центре внимания. Особенно она притягивала к себе мужчин. Впрочем, как известно, так бывало всегда. Ее школьная подруга Йенни рассказывала о том, сколько мальчишек липло к ней в юные годы: она с детства пропиталась запахом костного клея, и, по моему, даже в Дампе над нею витал этот дух.

Здесь ее окружали пожилые, одетые преимущественно в темно-синие костюмы мужчины, а она стояла среди них в черном, худая, жилистая. К этой седовласой мужской компании принадлежал бывший капитан-лейтенант, командовавший миноносцем Т-36, экипаж которого спас несколько сотен человек, а также уцелевший офицер с затонувшего лайпера. Особенно хорошо запомнили мать члены команды с миноносца «Лёве». Мне даже показалось, что они ждали ее. Они окружили мать, у которой порою легким намеком проявлялись девичьи повадки, и не отпускали ее от себя. Я слышал, как она хихикала, или видел, как она становилась перед ними в позу, скрестив руки на груди. Но с ними она разговаривала уже не обо мне, родившемся в минуты гибели корабля, теперь речь шла о Конни. Мать представила пожилым господам моего сына так, будто это был ее собственный ребенок; я же оставался в стороне, мне не очень хотелось расспросов ветеранов экипажа «Лёве», тем более не хотелось поздравлений.

Наблюдая со стороны, я отметил, как Конни, которого я считал довольно застенчивым, весьма уверенно справляется с той ролью, что была уготована ему матерью; отвечал он сдержанно, но четко, задавал вопросы сам, внимательно слушал, отваживался по-мальчишески улыбнуться и даже позировал для фотографий. В свои без малого пятнадцать лет, которые исполнятся ему в марте, он совсем не выглядел ребенком и, видимо, созрел, по мнению матери, настолько, чтобы быть целиком и полностью посвященным в пережитое бедствие и стать – что и произойдет позднее – сказителем легенды о погибшем корабле.

Отныне все закутилось вокруг него. Хотя на встрече среди уцелевших присутствовал человек, родившийся за день до гибели «Вильгельма Густлоффа», и ему, как и мне, Хайнц Шён лично подарил свою книгу, а обеих матерей пригласили на сцену и поздравили, вручив по букету цветов, однако мне показалось, что все это происходит лишь для того, чтобы преисполнить его чувством долга. На него возлагались отныне надежды. С ним связывались ожидания на будущее. И уцелевшие в катастрофе выражали уверенность, что он их не разочарует.

Мать нарядила его в темно-синий костюм, заставила надеть галстук, какие носят студенты солидных колледжей. В очках, с кудрявыми локонами, он напоминал одновременно конфирманта и архангела. Он уже выглядел так, будто принял на себя некую миссию, будто ему вскоре предстоит провозгласить некую весть, будто его посетило озарение.

Не знаю, кто предложил, чтобы на поминальном богослужении, проведенном в тот час, когда торпеды поразили корабль, именно Конни ударил в висящую около алтаря рынду, которую польские водолазы достали в конце семидесятых с кормовой части верхней палубы затонувшего лайнера. Сейчас, по случаю встречи, команда спасательного судна «Szkwal» передала эту находку в знак польско-германского примирения. Однако затем честь произвести тройной удар молоточком по рынде в конце поминальной службы была предоставлена все-таки господину Шёну.

Помощнику казначея на «Вильгельме Густлоффе» было на день катастрофы всего восемнадцать лет. Не стану умалчивать, что ему, собравшему и изучившему практически все материалы, связанные с гибелью лайнера, было выражено в Дампе не слишком много благодарности. Встреча-мемориал открывалась его докладом Гибель Вильгельма Густлоффа – глазами русских; по ходу доклада он дал понять, что для своих разысканий неоднократно посещал Советский Союз и даже встречался с боцманом подлодки С-13, более того, поддерживает дружеские связи с тем самым Владимиром Курочкиным, который по приказу

командира отправил в цель три торпеды; есть даже фотография, запечатлевшая его рукопожатие с этим пожилым человеком, который, как позднее сдержанно заметил Хайнц Шён, «тоже потерял боевых товарищей».

После доклада его избегали. Многие слушатели сочли его русофилом. Для них война никогда не кончалась. Для них русские оставались Иванами, а три торпеды – орудием убийства. А для Владимира Курочкина безымянный потопленный корабль был до отказа забит фашистами, нападшими на его родину и оставлявшими за собою при отступлении выжженную землю. Лишь из рассказа Хайнца Шёна он узнал, что после торпедной атаки погибли более четырех тысяч детей, которые утонули, замерзли или были увлечены водоворотом от пошедшего на дно судна. Эти дети еще долгое время снились боцману в ночных кошмарах.

Возможно, обиду Хайнца Шёна отчасти смягчило то, что ему была предоставлена честь пробить в рынду, поднятую с затонувшего корабля. А мой сын опубликовал для всего мира на своем сайте фотографию, увековечившую торпедиста рядом с летописцем «Густлоффа», прокомментировав это обстоятельство словами о том, что трагедия может сблизить народы; он не преминул описать историю создания снайперской подлодки, делая упор на «немецкое качество» судостроительных работ, и не удержался от замечания: дескать, только благодаря немецким конструкторам этой подлодки советские моряки сумели добиться успеха в районе Штольпебанк.

А что я? После поминального богослужения я сбежал. Бродил в темноте по берегу моря. Одиноко, бездумно. Был штиль, только вяло плескались бессловесные волны Балтики.

5

Старика это гложет. Собственно, говорит он, именно его поколение должно было поведать о страданиях беженцев из Восточной Пруссии: о потоках людей, движущихся по зимним дорогам на Запад, о зачочневших трупах в сугробах, о людях, погибавших в придорожных кюветах или в проломленном льду, когда замерзший залив Фришес хафф начинал крошиться под бомбами или трескаться под тяжестью перегруженных конных повозок, но, несмотря на это, все больше людей, начиная от Хайлигенбайля, срывались с места, гонимые ужасом мести, который несли русские, и шли по бесконечным снежным полям... Беженцы... Белая смерть... О таких страданиях, говорит он, нельзя было молчать все эти годы только потому, что важнее казалось признание собственной огромной вины и горячее покаяние, нельзя было отдавать то, что замалчивалось, на откуп правым и реваншистам. Это упущение безмерно...

И вот теперь исписавшийся Старик полагает, что нашел в моем лице, как он выразился, своего «заместителя», который сумеет поведать о вступлении советской армии на территорию Рейха, о захвате Неммерсдорфа и последствиях того военного эпизода. Я и впрямь подыскиваю слова. Но не Старик, а мать понуждает меня. И только ради нее вмешался сам он в эту историю, понуждаемый ею понудить меня, будто писать можно только по принуждению, будто ничто не может появиться без матери на чистом листе бумаги.

Она казалась ему существом непостижимым, недоступным для какого-либо оценочного суждения. Ему хотелось бы, чтобы его Тулла продолжала мерцать ровным рассеянным светом, поэтому теперь Старик разочарован. Никогда, говорит он, я не мог себе представить, чтобы Тулла Покрифке, уцелев, скатилась бы до такой банальности, как партийная активистка или ударница производства. Скорее уж от нее можно было ожидать какого-либо анархического выверта, иррационального поступка, вроде ничем не мотивированного террористического акта с бомбой, или же с ней могло произойти что-либо совсем другое, вроде холодного и страшного прозрения. В конце концов, сказал он, ведь именно Тулла, будучи в годы войны, когда все вокруг притворялись слепыми, еще совсем девочкой,

обнаружила неподалеку от зенитной батареи под Кайзерхафеном белесую грудку и прямо сказала, что это человеческие кости: «Это же гора костей!»²³

Старик не знает матери. А я? Я знаю? Во всяком случае, тетя Йенни, сказавшая мне однажды: «По сути, моя подруга Тулла – это несостоявшаяся монахиня, стигматизированная, конечно...», догадывалась, пожалуй, о ее истинной душевной природе или же уродстве. Справедливо одно: мать непостижима. Даже в качестве партактивистки ее не удавалось подчинить партийным директивам. А когда я решил удрать на Запад, она лишь вздохнула: «Ну что ж, давай!», но не выдала меня, хотя из-за меня ее в Шверине сильно прижали, даже госбезопасность неоднократно к пей приставала, только без ощутимых результатов...

В те поры она возлагала свои надежды на меня. Но потом выяснилось, что от меня толку не добьешься, пустая трата времени; тогда она – едва Стену убрали – принялась за моего сына. Конни было всего десять или одиннадцать лет, когда он попал в лапы к своей бабке. А после встречи в Дампе, где я оказался пустым местом, а Конни превратился в наследного принца, она стала пичкать его историями о беженцах, о зверствах, об изнасилованиях, которым она хотя и не была непосредственным очевидцем, но слухи о которых курсировали всюду, нагоняя на людей жуткий ужас, с тех пор как русские танки ворвались в октябре сорок четвертого через восточную границу Рейха в районы Гольдап и Гумбиннен.

Вероятно, так это и было. Или примерно так. Через несколько дней после прорыва советских войск, а именно Второй гвардейской армии, в Неммерсдорф этот населенный пункт был вновь отбит частями немецкой Четвертой армии, и произошедшее там можно было обонять, осматривать, подсчитывать и фотографировать, в результате чего по всем кинотеатрам Рейха прошел киножурнал, в котором показывалось, скольких женщин изнасиловали, а потом убили или пригвоздили к воротам сараев русские солдаты. «Тридцатьчетверки» нагоняли беженцев, давили их гусеницами. Застреленные дети валялись в палисадниках и придорожных канавах. Были ликвидированы даже французские военнопленные, занятые неподалеку от Неммерсдорфа на сельскохозяйственных работах, говорилось о сорока трупах.

Эти и другие подробности я обнаружил на все том же сайте. Здесь же приводился перевод обращения ко всем русским солдатам, с которым якобы выступил писатель Илья Эренбург, призывавший их убивать, насиловать, грабить, мстить фашистскому зверю за опустошенную родину, за Мать-Россию. На сайте www.blutzeuge.de мой сын, хотя его авторство было известно только мне, писал, пользуясь языком тогдашних официальных сообщений: «Вот как надругались русские изверги над беззащитными немецкими женщинами...»; «Так лютует русская солдатня...»; «Страшный террор грозит всей Европе, если азиатскому нашествию не будет дан отпор...» В качестве приложения здесь же был отсканирован избирательный плакат ХСС, который имел хождение в пятидесятые годы и изображал прожорливое чудовище, напоминавшее азиата.

Подобные фразы, а также фотографии к ним, распространяемые через Интернет и скачиваемые черт знает каким количеством пользователей, перекликались с сегодняшними событиями, хотя и не увязывались ни с бессильной остановить свой распад Россией, ни с кошмарами на Балканах или в африканской Руанде. Чтобы проиллюстрировать свой новейший репертуар, мой сын довольствовался картинками прошлого, а это всегда приносило плоды независимо от того, кто выступает заказчиком.

Мне же остается сказать, что в те дни, когда Неммерсдорф стал олицетворением всех ужасов, привычное презрение к русским сменилось страхом. Газетные статьи, радиопередачи и кинохроника, в которых говорилось о том, что произошло в отбитом населенном пункте, обернулись массовыми потоками беженцев, что привело в середине января, когда началось крупномасштабное советское наступление, к панике среди населения. С потоками беженцев началась гибель людей на дорогах. Я не могу описать этого. Никто не может. Скажу одно:

лишь часть беженцев достигла портовых городов Пиллау, Данциг и Готенхафен. Сотни тысяч людей попытались спастись от надвигающейся беды морским путем. Сотни тысяч людей – по некоторым данным, на Запад сумели добраться более двух миллионов беженцев – осаждали толпами военные, пассажирские и торговые суда; такая же участь выпала и «Вильгельму Густлоффу», который уже годами стоял на причале Оксхёфт в Готенхафене.

Конечно, мне было бы легче, если бы я мог все упростить, как это делает мой сын, который пишет на своем сайте: «Спокойно и с полным соблюдением порядка осуществлялась посадка на борт лайнера девушек и женщин, матерей и детей, спасавшихся бегством от русских извергов...» Но почему он утаивает то обстоятельство, что одновременно на борт были приняты более тысячи моряков-подводников и триста семьдесят девушек-военнослужащих из вспомогательных подразделений ВМС, а также расчеты зенитных установок, спешно смонтированных на корабле? Он вскользь отмечает, что в начале и конце погрузки на борт попали раненые: «Среди них находились бойцы с курляндского фронта, который продолжал сдерживать натиск красных орд...», а приступив к описанию того, как плавучая казарма переоборудовалась в транспортное судно, подробно перечисляет в центнерах запасы муки и сухого молока, указывает количество свиных туш, однако забывает о плохо обученных хорватских добровольцах, которых взяли для пополнения экипажа. Ничего не говорится о ненадежности систем связи. О том, проводились или нет учения на случай аварии и по команде «Задраить все переборки!» Разумеется, он подчеркивает заботливую предусмотрительность, которая проявилась в оборудовании родильного отделения, но что мешало ему хотя бы намекнуть на состояние своей бабки, которая находилась на последнем сроке беременности? И ни слова не сказано о нехватке десяти спасательных баркасов, которые были откомандированы для постановки дымовых завес при воздушных налетах на гавань и заменены гораздо меньшими по вместительности весельными шлюпками, а также срочно завезенными капковыми спасательными плотами. «Вильгельм Густлофф» должен был предстать в Сети исключительно в качестве транспортного судна для беженцев.

Почему Конни лгал? Почему обманывал себя и других? Почему он, досконально изучивший лайнер еще со времен СЧР и знавший его от гребного вала до последнего закоулка в бортовой прачечной, не был готов признать, что у причала стояло не госпитальное судно Красного Креста, не транспортный корабль, переполненный исключительно беженцами, а подчиненный военно-морскому флоту вооруженный лайнер, на борт которого чего только не погрузили? Почему он отрицал то, что давным-давно опубликовано и чего практически не оспаривают даже вечно вчерашние? Неужели ему хотелось создать видимость военного преступления, подретушировать реальные события, чтобы подыграть бритоголовым в Германии и где-то еще? Неужели его потребность в точном подсчете жертв была так остра, что на его сайте рядом с гражданским капитаном Петерсеном не нашлось места для его военного коллеги корветтенкапитана Цана, которого неизменно сопровождала любимая овчарка?

Могу только догадываться, что толкнуло Конни на подлог: желание иметь четкий, незамутненный образ врага. Историю же насчет овчарки я услышал от матери, которая была к этим псынам с детства равнодушна. Цан уже несколько лет держал на борту своего Хассана. Прогуливался ли он на палубе, сидел ли в офицерской кают-компании, Хассан всегда был при нем. Мать вспоминала: «Подниматься наверх нам не разрешалось, мы сидели внизу и хорошо видели, как капитан стоял, а рядом пес; оба разглядывали сверху нас, беженцев. А пес был точь-в-точь как наш Харрас...»

Она помнила, что происходило на пирсе: «Столпотворение и жуткий кавардак. Сначала всех, кто поднимался по трапу, еще записывали, как положено, а потом бумаги, видать, не хватило...» Общее число пассажиров так и останется неизвестным. Но что значат числа? На них никогда нельзя положиться. Всегда есть остаток, который оценивается лишь приблизительно. Всего на борту оказались зарегистрированными шесть тысяч шестьсот

человек, из них около полутора тысяч беженцев. Однако начиная с 28 января на лайнер пробилось еще множество людей, которых уже никто не считал. Сколько их было, две или три тысячи, непрономерованных и безымянных? Во всяком случае, примерно такое количество дополнительных талонов на питание было изготовлено судовой типографией и распределено с помощью девушек из вспомогательной службы ВМС. Сотней больше, сотней меньше – в подобных случаях это не имеет значения. Точного учета никто не ведет. Неизвестно, например, какое количество детских колясок было размещено в грузовых трюмах; существуют лишь оценки, согласно которым в конце концов на борт попало около четырех с половиной тысяч младенцев, детей и подростков.

Под занавес, когда лайнер был уже переполнен, поступила еще одна партия раненых и последний отряд девушек из вспомогательной службы ВМС, совсем молоденьких; все каюты уже были заняты, в залах также не оставалось свободного места для матрацев, поэтому девушек разместили в осушенном бассейне, который находился на палубе E ниже ватерлинии.

На это обстоятельство приходится указывать вновь и подчеркивать его, так как мой сын умолчал о всех деталях, связанных с гибелью этих девушек и с бассейном, который стал для них смертельной западней. Только в том месте на его сайте, где затрагивалась тема изнасилований, мелькнула патетическая фраза о «юных девочках, которые спасали на корабле свою невинность от русских извергов...»

Увидев эту чушь, я вновь не удержался от вмешательства, не в качестве отца, конечно. Дождавшись, когда чат откроется, разразился тирадой: «Твои беззащитные девочки носили военную форму, кстати говоря довольно симпатичную. Серо-голубые юбки до колена, узкие жакетки. Прическа венчалась сдвинутой набок пилоткой с имперским орлом и свастикой. И все они, невинные или уже нет, прошли военную подготовку, после которой дали присягу на верность своему Вождю...»

Однако сын не пожелал вступать со мной в полемику. Зато обрушился на своего виртуального оппонента, выступая в роли классического расиста: «Тебе, еврею, никогда не понять, какое страдание причиняют мне до сих пор те надругательства, которым подверглись немецкие девушки и женщины со стороны калмыков, татар и прочих монголов. Но что вам, евреям, до чистоты крови!»

Нет, мать не могла внушить ему ничего подобного. Или все-таки внушила? Однажды я привез ей в Шверин и положил на кофейный столик мою статью, вполне объективно освещавшую споры вокруг берлинского мемориала жертвам Холокоста, на что она рассказала мне, как однажды во дворе дядиной столярной мастерской появился «толстый веснушчатый мальчуган», который весьма похоже нарисовал их цепную овчарку: «Это был жиденыш, который вечно придумывал странные вещи. Правда, не настоящий, а полукровка, но папа все равно знал про это. Он так и сказал, когда выгнал со двора жиденыша, фамилия которого была Амзель...»

Матери вместе с родителями удалось попасть на борт «Густлоффа» утром 30 января: «В самую последнюю минутку успели...» При этом была утеряна часть их скарба. В полдень на «Густлоффе» скомандовали поднять якоря и отчалить. На пирсе остались сотни людей.

«Мама и папа стыдились, конечно, моего большого живота. Если кто-нибудь из беженцев интересовался насчет меня, мама говорила: „Жених у нее на фронте“. Или: „Вообще-то она собиралась заочно расписаться со своим женихом, который сейчас на Западном фронте. Если, конечно, он не убит“. Но мне они вечно твердили про позор. Еще хорошо, что на корабле нас сразу разделили. Маму с папой поместили в самый низ, где нашлось местечко. А меня отвели наверх, в родильное отделение...»

Впрочем, об этом еще не время. Придется опять совершить траекторию краба: вернуться назад, чтобы продвинуться вперед. Еще весь день накануне и целую долгую ночь Покрифке сидели на своих чемоданах и узлах среди толпы беженцев, многие из которых были измучены долгой дорогой. Люди пришли сюда от Куршской косы, из Земланда, из

Мазурского края. Последние беженцы прибыли из соседнего Эльбинга, атакованного советскими танками, но вроде бы еще сопротивлявшегося. Однако все больше становилось женщин и детей из Данцига, Сопота и Готенхафена, они толпились возле лошадей, телег, детских колясок, саней и саночек. Мать рассказывала мне о брошенных собаках, которых не пустили на корабль, поэтому они, голодные, бродили по порту, пугая людей. Лошадей, пришедших с восточнопруссских хуторов, хозяева распрягли, одних отдали частям вермахта, других отвели на бойню. Точнее мать сказать не могла. К тому же она больше жалела собак: «Всю ночь они выли, как волки...»

Если семья разнорабочего Покрифке покинула со своим скарбом дом на Эльзенштрассе, то их родственники, семья Либенау, не присоединились к беженцам. Слишком уж был привязан столярных дел мастер к своим строгальным станкам, к дисковой и ленточной пиле, к шлифовальной машине, к запасу досок в сарае и к доходному дому № 19, владельцем которых он являлся. Его сыну Харри, которого мать выдавала мне за моего возможного отца, еще осенью прошлого года вручили призывную повестку. Теперь он был связистом или пехотинцем на одном из пятящихся фронтов.

После войны я узнал, что поляки экспатриировали моего предполагаемого деда и его жену, как и всех оставшихся немцев. По слухам, они оказались на Западе, где-то под Люнебургом, там вскоре умерли один за другим – он, видимо, от тоски до потерянной мастерской и по множеству заготовок для дверных и оконных рам, хранившихся в подвале доходного дома. Что же касается цепного пса, в конуре которого мать некогда провела целую неделю, то он подох гораздо раньше; по ее словам, еще перед войной его отравил «дружок того жиденыша».

Вероятно, семье Покрифке удалось попасть на борт в числе последних только потому, что дочь явно была на последнем сроке беременности. Проблемы могли бы возникнуть только у Августа Покрифке. Полевая жандармерия, державшая пирс под контролем, могла забрать его, признав годным для «фольксштурма». Однако он, по выражению матери, всегда выглядел «недомерком», а потому ухитрился избежать контроля. Впрочем, строгих проверок под конец уже и не стало. Воцарился хаос. Дети могли очутиться на корабле без матерей. А у некоторых матерей в давке на сходнях вырывали из рук ребенка, который падал за поручни в воду, в прогал между бортом корабля и причалом. Тут уж кричи не кричи...

Возможно, семья Покрифке могла бы пристроиться на пароходы «Оцеана» или «Антонио Дельфино», хотя и те были переполнены беженцами. Оба судна также стояли у причала Оксхёфт в Готенхафене, который прозвали «пирсом доброй надежды»; этим средней величины транспортам посчастливилось благополучно добраться до Киля и Копенгагена. Но Эрне Покрифке «до смерти» хотелось попасть именно на «Вильгельм Густлофф», с которым связывалось столько радостных воспоминаний о круизе СЧР па тогда еще белоснежном лайнере к норвежским фьордам. Во взятых с собою пожитках она хранила фотоальбом со снимками из того путешествия.

Оказавшись внутри корабля, Эрне и Август Покрифке почти ничего не узнавали, поскольку все столовые, библиотека, Фольклорный зал и Музыкальный салон лишились своего убранства, в том числе картин, и превратились в шумный матрасный табор. Матрасами были забиты даже застекленная прогулочная палуба и переходы. Здесь гомонили тысячи детей, посчитанных и не посчитанных как часть живого груза, и их гомон то и дело смешивался с объявлениями по радио, когда выкликались имена очередного потерявшегося мальчика или девочки.

Когда незарегистрированное семейство Покрифке поднялось на борт, мать сразу отделили от родителей. Так решила медсестра. Осталось неизвестным, куда девушки из вспомогательной службы ВМС, следившие за порядком, отвели супругов – в одну из уже занятых кают, «уплотнив» ее, или же их вместе с остатками скарба разместили в одном из общих помещений. Во всяком случае, Тулла Покрифке больше уже никогда не видела ни семейного фотоальбома, ни собственных родителей. Я сознательно выбрал именно эту последовательность перечисления, ибо, по-моему, мать переживала утрату фотоальбома

особенно сильно, поскольку с ним пропали все снимки, сделанные семейным «Кодаком», которые запечатлели ее на мостках купальни в Сопоте с кудрявым братцем Конрадом или ее же в Йешкентальском лесу у памятника Гутенбергу, где они стоят вместе со школьной подругой Йенни и удочерившим подругу студентом Брунисом, не говоря уж о многочисленных фотографиях с Харрасом, чистопородным псом, известным своими племенными достоинствами.

В бесконечных историях о том, как семья попала на лайнер, мать всегда говорила о восьмом месяце беременности. Наверное, восьмой и был. Так или иначе, ее поместили в родильное отделение. Оно находилось рядом с так называемой «оранжереей», откуда доносились стоны тяжелораненых. Во времена круизов СЧР «оранжерея», то есть своего рода зимний сад, была весьма любима отпускниками. Она располагалась под самым капитанским мостиком. Доктор Рихтер, старший офицер военно-медицинской службы во Втором учебном дивизионе подводников, стал теперь главным корабельным врачом, следовательно, ему подчинялись и «оранжерея», и родильное отделение. Каждый раз, рассказывая о корабле, мать говорила: «Там мы наконец-то согрелись. Молока нам сразу дали горячего, даже ложку меда туда положили...»

Судя по всему, в родильном отделении господствовали обычные порядки. С начала посадки эвакуируемых здесь родились четыре младенца, по словам матери – «сплошь мальчишки».

Говорят, на беду «Густлоффа» у него было слишком много капитанов. Вполне возможно. Но «Титаником» командовал всего один капитан, а он все равно затонул во время первого же плавания. Во всяком случае, как рассказывала мать, вскоре после посадки она решила размять ноги, поэтому поднялась «на следующий этаж», охрана почему-то не обратила на нее внимания, и мать очутилась возле капитанского мостика, где один морской волк жутко бранился с другим, у которого была эспаньолка...»

Первым морским волком был, видимо, капитан Фридрих Петерсен, который в мирное время работал на гражданском флоте, командовал несколькими пассажирскими судами, а после начала войны попал в английский плен как нарушитель блокады. По солидному возрасту он был признан непригодным к военной службе, поэтому его отправили в Германию, взяв письменное обязательство не занимать впредь капитанские должности на флоте. Так его на середине седьмого десятка и назначили «сухопутным капитаном» на плавучую казарму, которая стояла у пирса Оксхёфт.

А морским волком с эспаньолкой наверняка был корветтенкапитан Вильгельм Цан, которого всюду сопровождал пес Хассан. Бывший командир подлодки, не имевший ранее особенных успехов, осуществлял теперь военное командование транспортным судном, перегруженным беженцами. Кроме того, на помощь старому капитану, уже подзабывшему практические навыки судовождения, были призваны два молодых капитана, Кёлер и Веллер, которые имели хороший опыт плавания по Балтике. Их обоих взяли с торгового флота, поэтому морские офицеры, прежде всего Цан, относились к ним свысока: они столовались в другой кают-компании, разговоры с ними не клеились.

Таким образом, на капитанском мостике сталкивались противоречия, несмотря на острую необходимость консолидировать ответственность за корабль, назначение которого и без того было трудно определить: с одной стороны, это был военный транспорт, с другой – госпитальное судно с беженцами на борту. Серая камуфляжная окраска также не позволяла однозначно сказать о характере «Густлоффа» как возможной цели. В гавани он находился в относительной безопасности, если не считать воздушных налетов. Но пока запрограммированные споры между несколькими капитанами еще не разгорелись. И пока совсем другой капитан ничего еще не знал о вооруженном зенитками корабле, на борту которого находились дети и солдаты, матери и девушки вспомогательной службы ВМС.

До конца декабря С-13 стояла в доке на базе Краснознаменного Балтийского флота в Смольном. А когда лодку подготовили к боевому походу, проверив технику, заправив горючим, погрузив торпеды и провиант, и уже пора было выходить в море, то обнаружилось, что пропал командир.

Алкоголь и женщины помешали Александру Маринеско своевременно вернуться из увольнения на свою подлодку к началу большого наступления на Балтике и в Восточной Пруссии. По слухам, его выбила из колеи и довела до беспамятства понтика, финская картофельная водка. Поиски в борделях, а также иных значных местах, хорошо известных военным патрулям, результатов не дали; подлодка оставалась без командира.

Протрезвевший Маринеско объявился в Турку лишь 3 января. Его тут же забрали в НКВД, где принялись допрашивать, подозревая в шпионаже. Поскольку у него начисто отшибло память обо всех адресах, где он побывал во время затянувшегося увольнения на берег, Маринеско ничего не смог сказать в свое оправдание. Наконец его начальнику, капитану первого ранга Орлу, со ссылкой на последние указания товарища Сталина удалось добиться отсрочки трибунала. Ему не хватало опытных командиров, поэтому не хотелось ослаблять ударную силу своего боевого соединения. А после того как экипаж С-13 вступился за своего командира, прося за него о прощении, что в глазах НКВД выглядело бунтом, Орел приказал командиру подлодки, ненадежному только при увольнениях на берег, немедленно выйти в Ханко, откуда спустя неделю С-13 отправилась в боевой поход. Фарватер был расчищен ледоколом. Курс к балтийским берегам пролегал мимо острова Готланд.

Как уже говорилось, в пятидесятые годы был снят черно-белый фильм «Ночь над Готенхафеном». В нем участвовали такие звезды, как Бригитта Хорни и Соня Циман. Режиссером был американец немецкого происхождения Франк Висбар, который до этого снял фильм о Сталинграде, а в качестве консультанта пригласили Хайнца Шёна, специалиста по «Вильгельму Густлоффу». На Востоке фильм не был разрешен к показу, на Западе же он прошел с умеренным успехом и был так же забыт, как несчастный корабль, с той, однако, разницей, что сохранился в архиве.

Будучи в ту пору старшекласником и проживая в Западном Берлине, я по настоянию школьной подруги матери тети Йенни – «моя подруга Тулла сообщила мне, что очень хотела бы, чтобы мы посмотрели этот фильм вместе», – исполнил это пожелание и был весьма разочарован. Сюжет оказался шаблонным. Как и во всех киновариантах «Титаника», экранизация гибели «Вильгельма Густлоффа» не обошлась без душеспитательной, а под конец героической любовной мелодрамы, будто катастрофа заполненного людьми корабля недостаточно захватывающая тема, а многим тысячам смертей не хватает трагизма.

Любовный треугольник в военное лихолетье. Фильм «Ночь над Готенхафеном» начинается затянутой прелюдией, действие ее разворачивается в Берлине, Восточной Пруссии и иных местах; треугольник состоит из солдата с Восточного фронта, который оказывается обманутым супругом и после тяжелого ранения попадает на борт корабля; из неверной жены с грудным младенцем, которая ищет спасения на этом корабле и разрывается между двумя мужчинами, а также легкомысленного морского офицера, который одновременно является прелюбодеем, отцом ребенка и его спасителем. Хотя во время сеанса тетя Йенни несколько раз прослезилась, однако после фильма, пригласив меня в «Парижский бар»²⁴ на мою первую рюмку перно, она сказала: «Твоей матери фильм вряд ли бы понравился, тем более что там ни до катастрофы корабля, ни после не показано ни одних родов...» А потом добавила: «Вообще-то из таких ужасов нельзя делать фильмы».

Уверен, что у моей матери не было па борту возлюбленного, как не было и моего возможного отца. Вполне вероятно, поскольку это соответствовало и продолжает соответствовать ее натуре, она, даже будучи беременной на последнем сроке, привлекала к себе внимание мужчин, находившихся на корабле: она обладает своего рода внутренним магнетизмом, или, как сама она говорит, «есть во мне нечто эдакое». Так, сразу после

поднятия якорей один из курсантов подводников – «бледный такой, прыщавый паренек» – вызвался проводить ее, беременную беженку, на верхнюю палубу. Ей не сиделось, на душе было как-то тревожно. Наверное, этот курсант был ровесником матери, лет семнадцати, от силы восемнадцати; он бережно провел ее под руку по скользкой, как стекло, обледеневшей солнечной палубе. Тут-то мать и подметила своим зорким взглядом, от которого никогда и ничего не скроешь, насколько заледенело все вокруг – шлюпобалки, блоки, крепления, принайтовленные по правому и левому борту спасательные шлюпки, тросы па талях.

Сколько раз я слышал от нее фразу: «Когда я все это увидела, стало мне не по себе». Бот и в Дампе, где она, худенькая, вся в черном, стояла окруженная пожилыми мужчинами и пыталась ввести моего сына Конрада в этот мирок людей, уцелевших после той катастрофы, я слышал ее слова: «Я тогда сразу поняла, что в случае чего из-за обледенения никого не спасут. Мне захотелось па берег. Закричала я как безумная. Только было уже поздно...»

В фильме, который я смотрел вместе с тетей Йенни в кинотеатре на Кантштрассе, ничего этого не было, ни сосулков на шлюпобалках, ни обледеневших трапов и поручней, ни даже льдин в гавани. А ведь не только у Хайнца Шёна, но и в книге трех английских авторов, Добсона, Миллера и Пейна, ясно говорится, что 30 января 1945 года было страшно холодно – 18 градусов мороза. Фарватер в Данцигской бухте пришлось расчищать ледоколами. Прогнозы предсказывали сильный шторм, ураганные порывы ветра.

Если я и задаюсь вопросом, что было бы, если бы мать все-таки сумела сойти с корабля, то у этих самих по себе бессмысленных предположений есть некоторая фактическая основа: когда четыре буксира вытащили «Вильгельма Густлоффа» из гавани Оксхёфт, среди Снежной мглы возник предназначенный для каботажного плавания пароход «Ревал», который двигался встречным курсом прямо на лайнер. Забитый беженцами из Тильзита и Кенигсберга, он шел от Пиллау, последнего порта в Восточной Пруссии. Поскольку внизу мест не хватало, то беженцы сгрудились и на верхней палубе. Позднее выяснилось, что многие замерзли насмерть, но так и продолжали стоять, как ледяные столбы.

Остановившийся «Вильгельм Густлофф» спустил забортные трапы и принял часть уцелевших беженцев, которые полагали, что на океанском лайнере они будут в большей безопасности; их кое-как разместили в душном тепле проходов.

А нельзя ли было матери воспользоваться спущенными трапами, чтобы проделать обратный путь? Ведь она всегда умела своевременно сделать резкий поворот. Возможность же представилась! Почему бы не перейти с обреченного корабля на «Ревал»? Тогда бы я, если бы она рискнула, несмотря на свой огромный живот, спуститься по трапу, родился бы в другом месте, не знаю где, но уж точно не 30 января.

И вот она опять, эта проклятая дата. История, точнее – история, с которой мы соприкасаемся, похожа на засоренный клозет. Промываешь его, промываешь, а дерьмо все равно всплывает наверх. Например, это треклятое тридцатое число. Как оно прилипло ко мне, какую отметину наложило. В свое время, будучи школьником или студентом, газетным редактором или отцом семейства, я всячески уклонялся от того, чтобы праздновать собственный день рождения – с приятелями, коллегами или в семейном кругу. Я всегда опасался, что на подобном празднике – пусть хотя бы в чьем-либо тосте – всплывет треклятое значение этого дня, хотя казалось, что сия нафаршированная до отказа многими смыслами дата тощает с годами, делается безобидной, становится обычным листом календаря среди прочих. Ведь мы, немцы, выдумали столько слов, чтобы справиться с прошлым: «искупление», «преодоление исторического наследия», «духовная работа скорби».

Однако потом обнаружилось, что 30 января вновь или все еще считается для кого-то в Сети государственным праздником, по случаю которого следует вывешивать флаги. Во всяком случае, мой сын попытался день захвата власти нацистами сделать зримой для всего мира красной датой календаря. В шверинском районе панельной застройки Гроссер Дреш, куда он в начале нового учебного года переехал к бабушке, он опять взялся вести свой сайт. Габи, моя бывшая супруга, не сумела воспрепятствовать уходу нашего сына от надоедливых

материнских нравоучений с левым уклоном к источнику бабкиных откровений. Хуже того, она сняла с себя всяческую ответственность: «Конраду почти семнадцать, пора ему принимать собственные решения...»

Меня вообще не спросили. Они расстались, как было заявлено, «по обоюдному согласию». Таким образом, переезд из Мёльна к Шверинскому озеру прошел тихо. Даже смена школ не вызвала особых проблем «благодаря хорошей успеваемости», хотя я с трудом мог представить себе своего сына в затхлой атмосфере восточногерманской школы. «Все это предрассудки, – сказала Габи. – Просто Конни предпочитает тамошнюю более строгую дисциплину на уроках здешней разболтанности». Впрочем, ее мнение остается двояким: как педагог, выступающий за свободу личности и открытые дискуссии, она разочарована, однако как мать она вынуждена смириться с решением сына. Дескать, даже подружка Конни – по этому случаю я и узнал о существовании этой невзрачной ассистентки зубного врача – отнеслась к его решению с пониманием. Сама Роза остается в Ратцебурге, но намеревается навещать Конрада как можно чаще.

Сохранил ему верность и партнер по диалогу. Давид, этот выдуманный, а может, где-то действительно существующий оппонент либо просто не заметил переезда Конрада, либо не нашелся, что возразить. Во всяком случае, когда в чате моего сына вновь зашла речь о 30 января, Давид объявился вновь с прежними антифашистскими лозунгами. Остальные участники также выступали вполне обычным образом: одни с безоговорочной поддержкой, другие с тотальным отрицанием. Чат превратился в настоящий базар. Вскоре речь пошла не столько о назначении Вождя рейхсканцлером, сколько одновременно о дне рождения Вильгельма Густлоффа, ибо споры развернулись вокруг замечания Конни, согласно которому «Провидением было суждено», чтобы Мученик явился на свет именно 30 января как провозвестье будущего захвата власти.

Подобная эклектика выдавалась участникам дискуссии за перст судьбы. На что реальный или мнимый Давид разразился ехидной тирадой в адрес Голиафа, поверженного в Давосе: «Значит, Провидением было суждено и то, чтобы корабль, названный в честь твоего жалкого партфункционера, был потоплен именно в день его рождения и в годовщину гитлеровского путча; недаром же точно в ту минуту, когда родился Густлофф, то есть ровно в двадцать один шестнадцать, грохнули три торпеды, отправив на дно весь этот сброд...»

Так и шел этот диалог, словно роли были заранее отрепетированы. Однако я с каждым разом все больше сомневался в моем предположении, что Давид является фиктивным персонажем, высказывающим клишированные сентенции вроде: «На вас, немцах, навечно выжжено клеймо Аушвица как знак вашей вины...» Или: «Ты сам являешься свидетельством того, как зло продолжает давать ростки в ваших следующих поколениях...» Встречались фразы, в которых Давид говорил о себе во множественном числе: «Нашим уделом остаются вечная скорбь и вечный укор»; «Мы, евреи, ничего не забудем!». Вильгельм не скупился в ответ на расистские штампы с их «засильем мирового еврейства» и особенно «сионистскими происками Уолл-стрит».

Бой шел жестокий. Но иногда противники словно изменяли своим персонажам, тогда мой сын в роли Вильгельма расточал похвалы ударной силе израильской армии, а Давид, напротив, осуждал строительство еврейских поселений на палестинской земле как «территориальную агрессию». Случалось, что оба вдруг переходили к весьма компетентному обсуждению чемпионатов по настольному теннису. Тогда их индивидуальные интонации, их реплики, порой довольно острые, порой насмешливо-приятельские, говорили о том, что в виртуальном пространстве встретились два молодых человека, которые при всей демонстративной враждебности могли бы стать друзьями. Например, Давид мог пошутить: «Привет, нацистская скотина! Еврейская свинья, которую ты хотел бы обречь на заклятие, хочет посоветовать тебе, что подать к столу, чтобы отметить дату захвата власти. Поешь вчерашнего горохового супа, раз уж ты вечно вчерашний...» А Вильгельм, вторя ему, прощался после разговора: «Ладно, довольно на сегодня еврейской кровушки. В следующий

раз я сам предложу тебе кулинарный рецепт, кошерную подливу хорошего коричневого цвета, а теперь – покедова!»

В остальном же по случаю 30 января они обменялись вполне традиционными посланиями. Лишь одну новую информацию сообщил Конни своему приятелю-противнику Давиду: «Знай, что на всех палубах гибнущего корабля звучала последняя речь нашего любимого Вождя».

Действительно, так оно и было. Повсюду на «Густлоффе», где имелись репродукторы, радио Великой Германии транслировало обращение Гитлера к своему народу. Даже в родильном отделении, где в это время мать по совету медсестры отдыхала на походной койке, слышался этот голос, который не спутаешь ни с чьим другим: «Сегодня, ровно двенадцать лет назад, 30 января 1933 года, этот поистине исторический день Провидение вверило в мои руки судьбу немецкого народа...»

Потом Кох²⁵, гауляйтер Восточной Пруссии, выступил с призывами держаться до конца. Затем последовала трагическая музыка. Но матери запомнилась только речь Вождя: «У меня мурашки побежали от страха, когда он заговорил о судьбе и прочих таких делах...» Иногда после короткой паузы она добавляла: «Это похоже было на речи, которые произносят на кладбище».

Но я забежал вперед. Радиотрансляция состоялась позднее. А пока лайнер идет по относительно спокойной Данцигской бухте, держа курс на мыс полуострова Хела.

30 января пришлось на четверг. Несмотря на длившийся несколько лет простой, двигатели работали нормально. Волнение на море, снежная метель. На всех внутренних палубах выдавался по талонам на питание суп с хлебом. Оба торпедолова, которые должны были сопровождать корабль до Хелы, не сумели справиться с высокой волной, поэтому им дали радиограммой разрешение вернуться назад. Радиограммой же пришло сообщение о конечной цели маршрута: будущие подводники второго учебного дивизиона должны были сойти на берег в Киле, то же самое относилось к девушкам из вспомогательной службы ВМС и раненым, которых, естественно, пришлось бы нести на берег, если они не могли идти сами; беженцев предполагалось доставить во Фленсбург. Метель не стихала. Обнаружились первые пассажиры, страдающие морской болезнью. Когда наконец на рейде Хелы появилась «Ханза», также переполненная беженцами, то предполагавшийся состав конвоя можно было считать укомплектованным, хотя и не хватало трех обещанных судов сопровождения. Однако, последовала команда отдать якоря.

Не буду перечислять всех причин, по которым забытый всеми, нет, вытесненный из памяти злосчастный лайнер, призрак которого неожиданно всплыл в Сети, отправился в дальнейшее плавание без «Ханзы», у которой отказали двигатели, и лишь с двумя судами сопровождения, причем одно из них было вскоре отозвано. Замечу лишь следующее: едва двигатели заработали снова, на капитанском мостике начались разногласия. Четыре капитана переругались. Петерсен и его первый офицер, также ранее служивший в торговом флоте, категорически возражали против повышения скорости сверх двенадцати морских миль в час. Обоснование: корабль слишком долго простоял у стенки, повышать скорость рискованно для двигателей. Цан, бывший командир подлодки, исходя из собственного опыта, опасался, что в таком случае противник сможет занять выгодную позицию для атаки, поэтому требовал увеличить скорость до пятнадцати узлов. Победил Петерсен. Тогда первый офицер при поддержке «ходовых капитанов» Кёлера и Веллера предложил в районе Риксхёфта выбрать дальнейший маршрут вдоль береговой кромки, по хотя и насыщенному минными полями, но зато неудобному для подводных лодок мелководью, однако Петерсен, па сей раз при поддержке Цана, предпочел чистое от мин глубоководье и в то же время отклонил совет всех остальных капитанов идти противолодочным зигзагом. Не оспаривался лишь прогноз погоды: сила ветра шесть-семь баллов, направление ветра вест-норд-вест с поворотом на вест, к вечеру ослабление ветра до пяти баллов. Штормовое волнение при ослабевающем

ветре четыре балла, снегопад, видимость от одной до трех морских миль, мороз средней силы.

Обо всем этом – о непрекращающихся спорах на капитанском мостике, об отсутствии должного количества судов сопровождения, об обледенении верхней палубы, из-за которого даже не могли использоваться зенитки – мать ничего не знала. Она лишь запомнила, что после «речи Вождя» получила от медсестры родильного отделения Хельги пять сухарей и тарелку молочной рисовой каши с сахаром и корицей. Из соседней «оранжереи» доносились стоны тяжелораненых. К счастью, по радио передавали концерт популярных мелодий. Под них она и заснула. Ни намека на первые схватки. Мать считала, что идет восьмой месяц.

Не только «Густлофф» шел на расстоянии двенадцати миль от померанских берегов, советская подлодка С-13 следовала тем же курсом. Поначалу вместе с двумя другими подлодками Краснознаменного Балтийского флота она тщетно дожидалась кораблей, покидавших портовый город Мемель, за который шли бои, или же доставлявших подкрепление остаткам Четвертой армии. Несколько дней поиск не давал результатов. Вероятно, у притаившегося в засаде командира С-13 не шли из головы угроза трибунала и предстоящий очередной допрос в НКВД.

Узнав ранним утром 30 января из радиogramмы, что Красная армия заняла порт Мемеля, он, не поставив в известность командование, приказал проложить новый курс. Пока «Густлофф» принимал у причальной стенки Оксхёфта последних беженцев – и среди них семью Покрифке, – подлодка С-13 с экипажем в сорок семь человек и десятью торпедами на борту направилась к померанским берегам.

Два судна в моем повествовании уже сходятся все ближе и ближе, однако до решающих событий дело еще не дошло, поэтому есть возможность коснуться рутинного времяпрепровождения в тюрьме кантона Граубюнден. В тот четверг, как и в прочие будние дни, арестанты сидели за ткацкими станками. К этому времени убийца Вильгельма Густлоффа, бывшего ландесгруппенляйтера НСДАП, осужденный на восемнадцать лет тюрьмы, отсидел из них уже девять. Ситуация на фронтах решительно изменилась, нападение со стороны Великого германского Рейха больше не грозило, поэтому его перевели обратно в тюрьму Зенхоф кантона Кур, где он счел возможным подать прошение о помиловании, которое, однако, на период наблюдаемых нами перемещений по Балтийскому морю было отклонено Верховным федеральным судом Швейцарии. Но не только Давид Франкфуртер – корабль, названный именем его жертвы, также не получил пощады.

6

Старик утверждает, что моему повествованию более всего соответствует жанр новеллы. Впрочем, меня подобные литературные тонкости не волнуют. Я лишь излагаю факты. В тот день, который был избран провидением или иным автором календарей в качестве последнего для «Густлоффа», финал Великого германского Рейха был предрешен: британские и американские дивизии уже дошли до Ахена. Наши последние подлодки хотя и рапортовали об уничтожении трех транспортов в Ирландском море, однако рейнский фронт едва сдерживал натиск на Кольмар. На Балканах в районе Сараева активизировались партизаны. Из датской Ютландии была отозвана вторая горнострелковая дивизия для усиления Восточного фронта. В Будапеште, где снабжение ухудшалось ежесуточно, фронт приблизился к самому центру города. С обеих сторон множилось число убитых, везде собирали солдатские жетоны и раздавали ордена.

Что происходило помимо этого, если не считать отсутствия обещанного «чудо-оружия»? В Силезии под Глогау атаки были отбиты, зато в Познани ситуация обострилась. Под Кульмом советские части форсировали Вислу. В Восточной Пруссии противник пробился к Бартенштайну и Бишофсвердеру. Из Пиллау удалось в этот день, который казался довольно обычным, эвакуировать морем шестьдесят пять тысяч гражданских и военных лиц. Всюду свершались подвиги, вполне заслуживающие памятников, и впредь также можно было

ожидать новых героических поступков. Пока «Вильгельм Густлофф» держал курс на запад к району Штольпемюнде, а подлодка С-13 рыскала в поисках добычи, тысяча сто четырехмоторных вражеских бомбардировщиков осуществили ночные налеты на Хамм, Билефельд и Кассель, а американский президент уже покинул пределы США; Рузвельт отправился в Крым, где этот больной человек собирался принять участие в Ялтинской конференции с Черчиллем и Сталиным, чтобы решить вопрос о новых границах и готовить переход к миру.

На сайте моего всезнающего сына я нашел сделанное мимоходом, но от этого не менее злое замечание по поводу Ялтинской и более поздней Потсдамской конференции, которая состоялась, когда Рузвельт уже умер и президентом стал Трумэн: «Так разодрали в клочья нашу Германию!»; здесь же прилагалась карта с отмеченными территориальными потерями Великого германского Рейха. Далее он фантазировал на тему о том, какие чудеса могли бы произойти, если бы молодые, почти закончившие подготовку курсанты-подводники благополучно добрались на борту «Густлоффа» до Киля и смогли бы укомплектовать дюжину или больше экипажей новейших, удивительно быстрых и практически бесшумных подлодок класса XXIII, которые успешно приступили бы к боевым операциям. Фантазии полнились героическими делами и победными экстренными сообщениями. Не то чтобы Конни считал в этом случае возможным другой исход войны, но он полагал, что даже если бы эти чудо-подлодки были уничтожены вместе с экипажами глубинными бомбами, то смерть молодых подводников была бы все-таки не столь ужасной, как их гибель в ледяных водах у Штольпебанк. Даже Давид не смог не согласиться с ним при сравнении обоих видов гибели, хотя и заметил: «Ребятам не дано было выбора. У них все равно не имелось шанса дожить самой нормальной жизнью до взрослых лет...»

Уцелевший при катастрофе помощник казначея собрал фотографии: множество маленьких, паспортного формата, и один большой коллективный снимок всех курсантов-подводников второго учебного дивизиона, которые обычно проходили четырехмесячную подготовку; они выстроились на солнечной палубе, где после команды «Вольно!» к ним обратился с приветствием корветтенкапитан Цан. На этой большой фотографии можно насчитать более девятисот бескозырок, которые уменьшаются по мере ухода в глубину, к корме. Отдельные лица довольно хорошо различимы до седьмого ряда. Затем следует стройная масса. А с маленьких фотографий на меня смотрят мужчины в морской форме, их юные лица разнятся, но одновременно все они кажутся еще не вполне созревшими. Ребятам лет по восемнадцать. Некоторые из тех, кто снялся в военной форме в последние месяцы войны, выглядят еще моложе. Моему сыну сейчас семнадцать, он мог бы быть одним из них, хотя из-за очков его вряд ли признали бы годным для службы на подлодке.

Все они носят лихие бескозырки с надписью на ленточке «Военно-морской флот», обычно бескозырка слегка сдвинута направо. Вижу округлые, узкие, скуластые или щекастые лица этих ребят, обреченных на смерть. Они очень горды морской формой. Они смотрят на меня серьезно, как будто фотография запечатлела их тревожное предчувствие.

У меня есть фотографии лишь нескольких из трехсот семидесяти трех девушек вспомогательной службы ВМФ, оказавшихся на борту «Густлоффа»; несмотря на свои сдвинутые на бочок пилотки с имперским орлом, выглядят они вполне по-граждански. У них аккуратные прически с модной на то время горячей или холодной завивкой. Некоторые девушки были, вероятно, помолвлены, кое-кто уже замужем. Две-три девушки с прямыми волосами сразу же напомнили мне своей холодноватой чувственностью мою бывшую супругу в молодости. Такой я увидел Габи в Западном Берлине, где она усердно изучала педагогику, и она сразу же покорила меня. Почти все девушки на первый взгляд весьма недурны, даже милы, кое у кого уже есть легкий намек на второй подбородочек. Взгляд у них не такой строгий, как у ребят. Каждая смотрит на меня с улыбкой, у них дурных предчувствий не заметно.

Из более чем четырех тысяч младенцев, детей и подростков, находившихся на борту злосчастного лайнера, не удалось спасти даже сотни, поэтому и фотографий нашлось совсем мало – ведь вместе со скарбом беженцев на затонувшем корабле пропали и семейные фотоальбомы людей, уходивших из Западной и Восточной Пруссии, из Данцига и Готенхафена. Я разглядываю детские лица тех лет. Девочки с косичками и бантами, мальчики с левым или правым пробором. Фотографий младенцев, которые всегда выглядят вне времен, практически нет. Сохранившиеся фотографии тех матерей, для которых Балтийское море стало могилой, или тех немногих, которые выжили, но как правило потеряли детей, были сняты задолго до катастрофы или многие годы спустя; эти снимки «нащелкали», как говорит мать, по случаю каких-либо семейных событий; кстати, ни материнских, ни моих фотографий в младенческом возрасте, естественно, нет.

Не осталось фотографий мазурских крестьян и крестьянок, пенсионеров государственной службы, веселых вдов, вышедших на покой ремесленников, тысяч стариков и старух, которые были совершенно сбиты с толку тяготами эвакуации и которым удалось попасть на борт «Густлоффа». Всех мужчин среднего возраста отсеивали на пирсе Оксхёфта и отправляли в последние части ополчения. Среди спасенных не нашлось практически ни одного старика, ни одной пожилой дамы. Нет фотографий и тяжело раненных солдат, доставленных с курляндского фронта и размещенных в «оранжерее».

К числу немногих уцелевших стариков относится капитан лайнера Петерсен, которому было около шестидесяти пяти. Все четыре капитана находились в девять вечера на капитанском мостике и спорили о том, правилен или неправилен приказ Петерсена включить ходовые огни, поскольку вскоре после восемнадцати часов поступила радиограмма, что встречным курсом движется отряд тральщиков. Цан был против. Его поддержал второй штурман. Правда, Петерсен распорядился погасить некоторые огни, но бортовые огни справа и слева горели. Так сопровождаемый теперь только эсминцем «Лёве» лайнер, затемненный по высоте и длине, продолжал, сражаясь с высокой волной, держать заданный курс и приближался к обозначенной на всех морских картах отмели Штольпебанк. Указанный в прогнозах мороз средней силы равнялся на самом деле восемнадцати градусам ниже нуля.

Судя по рассказам очевидцев, раньше всех заметил далекие ходовые огни старпом советской подлодки С-13. Кто бы это ни был, Маринеско сразу после доклада появился в рубке подлодки, шедшей в надводном положении. Как повествуют мемуары, на нем была черная ушанка, а вместо полагавшейся для офицеров-подводников по уставу утепленной шинели замасленный овчинный полушубок.

Во время долгого плавания в подводном положении, когда лодка шла на аккумуляторах, гидроакустики докладывали командиру лишь о шумах малых судов. В районе Хелы он дал команду на всплытие. Заработали дизельные двигатели. Теперь доложили о шумах двухвинтового корабля. Неожиданно поднявшаяся метель прикрывала подлодку, но ухудшала видимость. Когда ветер стих, удалось разглядеть очертания военного транспорта тысяч на двадцать тонн, который шел с судном сопровождения. Наблюдение велось со стороны моря в направлении угадывавшегося померанского берега, виден был правый борт транспорта. Пока дело этим и ограничилось.

Мне остается лишь гадать, что побудило командира С-13 резко ускориться в надводном положении и совершить рискованный маневр, обойдя с кормы и транспорт, и корабль сопровождения, чтобы потом искать позицию для атаки со стороны берега на глубине менее тридцати метров под днищем лодки. По его собственным словам, сказанным позднее, он был готов атаковать фашистских гадов, напавших на его родину и разоривших ее, где бы он их ни встретил; ранее ему этого не удавалось.

Уже две недели его поиск был безуспешен. Ничего не получилось ни у острова Готланд, ни у балтийских портов Виндау или Мемель. Не выстрелила ни одна из имевшихся на борту десяти торпед. Он изголодался по добыче. Кроме того, Маринеско чувствовал себя уверенным только в море, его не могла не донимать мысль о том, что при безрезультатном

возвращении на базу в Турку или Ханко его ждет трибунал, которого требовал НКВД. Дело было не просто в пьянке во время последнего увольнения и даже не в запрещенном посещении финских бардаков – его обвиняли в шпионаже, а такое обвинение служило с середины тридцатых годов обоснованием для советских чисток, и оправдываться тут было бесполезно. Спасением мог стать только очевидный успех.

Примерно через два часа гонки в надводном положении обходной маневр был завершен. Теперь С-13 шла параллельным курсом с целью, которая, к удивлению наблюдателей в рубке, имела ходовые огни и не двигалась противолодочным зигзагом. Метель окончательно прекратилась, поэтому возникла опасность, что пелена туч прорвется и тогда луна осветит не только огромный транспорт с кораблем сопровождения, но и подлодку.

Тем не менее Маринеско не изменил решения атаковать из надводного положения. Помогло то, что средство обнаружения подлодок на миноносце «Лёве» – этого никто не мог предположить – обледенело и потому не сработало. Английские авторы Добсон, Миллер и Пейн пишут, что советский командир воспользовался приемом немецких подводников, успешно применявшимся ими в Атлантике, а именно атакой из надводного положения, который он долго отрабатывал и теперь смог наконец осуществить на практике: такая атака позволяла лучше видеть цель, действовать на высокой скорости и обеспечивала высокую точность попадания.

Маринеско увел лодку немного вниз, так что корпус ее был не виден, из воды при все еще высокой волне торчала только рубка. Пишут, будто с мостика транспорта перед самой атакой взлетела ракета и якобы подавались сигналы световой азбукой, но немецкие источники – свидетельства уцелевших капитанов – этого не подтверждают.

Так С-13 беспрепятственно приблизилась к цели с левого борта. По приказу командира четыре носовых торпедных аппарата были установлены на трехметровую глубину. Расстояние до цели составляло около шестисот метров. Нос корабля вошел в перекрестье прицела. По московскому времени было двадцать три часа четыре минуты, по немецкому времени ровно на два часа меньше.

Но прежде чем Маринеско отдаст команду «Пли» и случится непоправимое, необходимо упомянуть в моем повествовании одну легенду. Говорят, будто перед уходом С-13 из Ханко старшина второй статьи Пихур сделал краской надписи на всех торпедах, в том числе и на тех четырех, что были готовы к выстрелу. На первой торпеде значилось «За Родину!», на торпед в втором аппарате «За Сталина!», а на гладкой поверхности третьей и четвертой торпед было написано «За советский народ!» и «За Ленинград!».

После прозвучавшего наконец приказа три из четырех торпед с этими надписями – торпеда, посвященная Сталину, застряла в аппарате, и ее срочно пришлось обезвреживать – устремились к безымянному для Маринеско кораблю, на борту которого мать все еще спала под тихую музыку из радиоприемника в родильном отделении.

Пока три торпеды со своими надписями несутся к цели, попробую вообразить себя на борту «Вильгельма Густлоффа». Проще всего найти девушек из вспомогательной службы ВМФ, которые пришли последними и которых разместили в осушенном бассейне, не говоря уж о соседнем молодежном отделении, которое и раньше предназначалось для участвовавших в круизах ребят из гитлерюгенд и Союза немецких девушек. Здесь, в тесноте, одни лежат, другие сидят. Прически еще держатся. Но улыбки уже исчезли, прекратились дружеские или едкие подначки. Кое-кто страдает морской болезнью. Тут, как и в коридорах, бывших салонах или столовых пахнет рвотой. Для такого количества беженцев и экипажа туалетов не хватает, а многие из них уже засорены. Вентиляторы не справляются со спертым воздухом и вонью. После выхода в море всем приказано надеть спасательные жилеты, однако усиливаются жара и духота, люди начинают снимать слишком теплое белье и стараются избавиться от спасательных жилетов. Тихонько ноют дети, жалуются старики. Репродукторы умолкли. Все звуки приглушены. Слышны только вздохи, сдавленные всхлипы. Это еще не катастрофическое настроение, но его преддверье, крадущийся страх.

Лишь на капитанском мостике после утихнувших споров воцаряется более или менее оптимистическое настроение. Все четыре капитана полагают, что с прибытием в район Штольпебанк главная опасность осталась позади. В каюте старшего помощника ужин: гороховый суп с мясом. Корветтенкапитан Цан велел подать коньяку. Вроде бы есть повод чокнуться за благополучный ход дела. У ног хозяина дремлет пес Хассан. В качестве дежурного офицера на мостике находится только капитан Веллер. На этом отпущенное время истекло.

С детства незабываема фраза матери: «Сон у меня сразу будто рукой сняло, когда первый раз грохнуло, а потом еще и еще...»

Первая торпеда попала значительно ниже ватерлинии в носовую часть корабля, где размещались кубрики экипажа. Всем, кто отдыхал, жевал коврижки, дремал в койке и кто уцелел при взрыве, не суждено было выжить, поскольку капитан Веллер при первом же докладе о повреждениях приказал автоматически задраить все переборки носовой части корабля, иначе лайнер мог бы клюнуть носом и начать быстро тонуть; перед самым выходом в море состоялось аварийное учение с командой «Задраить переборки!». Среди матросов и хорватских добровольцев, которыми пришлось пожертвовать, были как раз многие из тех, кто по аварийному расписанию должен был следить за организованной эвакуацией людей и спускать на воду спасательные шлюпки.

Никто точно не знает, что именно произошло в отрезанных передних отсеках корабля, произошло внезапно или с некоторой задержкой, но окончательно.

Незабываема и следующая фраза матери: «Когда второй раз грохнуло, я аж с постели свалилась, так сильно тряхануло...» Это торпеда, выпущенная из третьего аппарата и несшая на своей гладкой поверхности надпись «За советский народ!», взорвалась под бассейном на самой нижней палубе. Уцелели лишь две или три девушки. Позднее они рассказывали, что пахло газом и что многих девушек разорвало прямо-таки на куски осколками кафеля и мозаичного панно, которое украшало фронтон бассейна. Вода быстро прибывала, в ней плавали мертвые тела, куски человеческих тел, бутерброды и прочие остатки ужина, а также спасательные жилеты. Криков почти не было. Свет погас. Две или три девушки, малоформатные фотографии которых оказались в моем распоряжении, спаслись через аварийный выход по вертикальному железному трапу, шедшему вверх, на следующую палубу.

Затем мать добавляла: когда грохнуло опять, в родильном отделении появился доктор Рихтер. «Но тут уж началось светопреставление!» – восклицала она всякий раз, дойдя в своей бесконечной истории до третьего взрыва.

Последняя торпеда попала в среднюю часть корпуса, в машинное отделение. Сразу же не только остановились двигатели, но и погасло внутреннее освещение на палубе, отказала прочая техника. Все остальное происходило в темноте. Правда, несколько минут спустя включившееся аварийное освещение позволило кое-как сориентироваться в панике, которая быстро распространялась по лайнеру, имевшему десятиэтажную высоту и насчитывавшему в длину, более двухсот метров; однако сигнал SOS подать не удалось, поскольку судовая радиостанция также вышла из строя. Один лишь миноносец «Лёве» безостановочно сигнализировал в эфир: «Густлофф» тонет после трех торпедных попаданий!» Затем на протяжении часов повторялись координаты тонущего лайнера: «Район Штольпебанк. 55 градусов 07 минут северной широты, 17 градусов 42 минуты восточной долготы. Просим помощи...»

На подлодке С-13 попадание торпед в цель и вскоре установленное ее погружение было встречено сдержанным ликованием. Маринеско приказал подлодке, уже находившейся в притопленном положении, уйти на глубину, сознавая, однако, что вблизи от берега, особенно в районе отмели Штольпебанк, укрыться от глубинных бомб очень сложно. Но сначала нужно было обезвредить торпеду, застрявшую во втором аппарате; готовая к детонации, с запущенным двигателем, она могла взорваться даже от легкого сотрясения. По счастью, глубинных бомб никто не сбрасывал. Миноносец «Лёве», заглушив мотор, осматривал прожекторами смертельно раненный лайнер.

На нашей глобальной игровой лужайке, якобы служащей последним оплотом человеческой коммуникации, редактор сайта, связанный со мною родственными узами, именовал советскую подлодку С-13 не иначе как «лодкой-убийцей». И весь экипаж этой боевой единицы Краснознаменного Балтийского флота был заклеен здесь как «свора душегубов, убивающих детей и женщин». Мой сын брал на себя в Сети роль судьи. Возражения его противника-приятеля Давида, которому в голову не приходило ничего, кроме антифашистских трафаретов и ссылок на наличие высокопоставленных нацистов, военного персонала, а также тридцатимиллиметровых зениток, установленных на солнечной палубе лайнера, не могли противостоять лавине комментариев, хлынувших в чат со всех континентов. Участники дискуссии писали в основном по-немецки, вплетая нередко обрывки английского. Мой монитор захлестнули обычные злые тирады, порой вперемежку с благочестивыми апокалиптическими заклинаниями. Восклицательные знаки под страшным итоговым счетом жертв. Для сравнения приводилось количество жертв при других морских катастрофах.

Драма «Титаника», ставшая сюжетом многих кинофильмов, претендовала на первенство. За ним следовала «Лузитания», потопленная немецкой подлодкой во время Первой мировой войны, что якобы обусловило или ускорило вступление в войну Соединенных Штатов Америки. Некий одинокий голос напомнил о судне «Кап Аркона» с заключенными из концлагерей, потопленном английскими бомбардировщиками в Нойштедской бухте за несколько дней до конца войны; эта катастрофа, повлекшая за собою семь тысяч жертв, возглавила рейтинговую таблицу в Интернете. И все-таки в конце концов победителем из этих цифровых баталий вышел «Вильгельм Густлофф». Со свойственной ему дотошностью моему сыну удалось на собственном сайте привлечь внимание особенно своих сторонников к этому забытому кораблю и его человеческому фрахту; с помощью схемы, на которой звездочками обозначались попадания торпед, он сделал эту трагедию зримой, она стала символом человеческих бедствий глобального масштаба.

Тем не менее то, что реально произошло на «Вильгельме Густлоffe» 30 января 1945 года начиная с 21 часа 16 минут, имеет лишь косвенное отношение к указанной выше конкуренции чисел в киберпространстве. Скорее уж Франк Висбар в своем черно-белом фильме «Ночь над Готенхафеном» сумел, несмотря на затянутую прелюдию, отчасти передать тот панический ужас, который охватил людей на всех палубах после того, как три торпеды поразили лайнер и он стал погружаться носом, одновременно заваливаясь на левый борт.

Упущения мстили за себя. Почему не были заранее подготовлены к спуску спасательные шлюпки, которых и без того не хватало? Почему не проводились регулярные противообледенительные работы на шлюпбалках и таях? К тому же сказалось отсутствие части экипажа, оставшейся за задраенными переборками в носовой части корабля. Ведь курсанты учебного дивизиона не отрабатывали спуска спасательных шлюпок. Доступ к спасательным шлюпкам имелся только с солнечной палубы, а она обледенела, была скользкой, как каток, к тому же накренилась, и масса людей, хлынувшая с верхних палуб, не могла удержаться на ногах. Кое-кто, потеряв опору, уже падал за борт. Далеко не на каждом был спасательный жилет. В панике на прыжок в воду отваживались и другие. Внутри корабля стояла жара и духота, поэтому те, кто выскакивал на солнечную палубу, были слишком легко одеты, а при восемнадцати градусах мороза и соответственно низкой температуре воды – плюс два-три градуса? – мало у кого были шансы преодолеть температурный шок. И все же люди прыгали за борт.

С капитанского мостика последовал приказ оттеснить толпу на застекленную нижнюю прогулочную палубу, закрыть там двери и выставить вооруженную охрану в надежде на прибытие судов, идущих на спасение. Приказ был неукоснительно исполнен. Вскоре в стеклянную витрину длиной в сто шестьдесят шесть метров, опоясывающую правый и левый борт, набилось более тысячи человек. Лишь в последний момент, когда уже было слишком

поздно, в некоторых местах удалось изнутри расстрелять бронированное стекло этой западни.

Происходившее внутри корабля неопишимо. Когда мать говорит об этой неопишимости, что у нее «нету слов», то можно догадаться, что именно я смутно имею в виду. Поэтому не буду пытаться представить себе кошмарные сцены, чтобы запечатлеть их в отчетливых картинах, как бы ни подталкивал меня мой Заказчик к выстраиванию череды отдельных судеб, к эпической повествовательности, к глубокому сопереживанию и одновременно эмоциональному лексическому накалу, достойным масштабов этой трагедии.

Черно-белый кинофильм сделал попытку запечатлеть ее в кадрах, снятых в кулисах киностудии. На экране обезумевшая толпа, забытые людьми переходы, смертный бой за каждую ступеньку трапа, ведущую вверх, на экране переодетые пассажирами статисты изображают тех, кто оказался заперт на застекленной прогулочной палубе, угадывается сильный крен лайнера, внутри корабля вода прибывает, в ней барахтаются и тонут. А еще на экране дети. Дети, оторванные от матерей. Дети с куклами в руках. Дети, затерявшиеся в уже опустевших переходах. Детские глаза крупным планом. Впрочем, даже одни лишь финансовые соображения не дают возможности отразить в фильме каждого из более чем четырех тысяч погибших младенцев, детей и подростков, поэтому сама цифра была и остается некой абстракцией, как и измеряющиеся тысячами, сотнями тысяч, миллионами другие числа, которые и прежде, и теперь поддавались и поддаются лишь весьма приблизительным оценкам. Нулем на конце больше, нулем меньше – какая, собственно, разница; в статистике за цифрами прячется смерть.

Я могу лишь изложить то, что приводится в различных источниках в качестве свидетельства очевидцев, переживших эту катастрофу. Стариков и детей затаптывали насмерть на широких лестницах и узких трапах. Каждый думал только о себе. Заботившиеся о других пытались опередить мучительную смерть. Рассказывают об одном офицере-преподавателе, который застрелил в своей каюте из служебного пистолета сначала троих детей, потом жену, а затем застрелился сам. То же рассказывается и о партийных функционерах и их семьях, которые занимали спецпартаменты, предназначенные некогда для Гитлера и его верного сподвижника Лея и ставшие теперь кулисами для акта самоликвидации. Вероятно, Хассан, пес корветтенкапитана, был также застрелен хозяином. Да и на обледенелой солнечной палубе применялось оружие, поскольку люди не подчинялись команде «В шлюпки – только женщины и дети!», в результате чего спаслись преимущественно мужчины, о чем сухо и без комментариев говорит подводящая итоги всему живому статистика.

В спасательную шлюпку на пятьдесят мест погрузился при спешном спуске на воду всего десяток матросов. Другая шлюпка из-за той же спешки перевернулась при спуске, повисла на тросе, все люди выпали в штормовое море, а трос лопнул, и шлюпка обрушилась на тех, кто барахтался в волнах. Лишь спасательную шлюпку №4, заполненную наполовину женщинами и детьми, удалось спустить по всем правилам. Тяжелораненые, лежавшие в «оранжерее», оказались в безнадежном положении, поэтому санитары постарались разместить на шлюпках хотя бы легкораненых – тщетно.

Даже командование лайнера думало только о себе. Рассказывают, как офицер высокого ранга вывел свою жену из каюты на кормовую верхнюю палубу и стал освобождать ото льда крепления мотобота, который использовался во времена СЧР для морских прогулок. Когда ему удалось выдвинуть шлюпобалку, случилось чудо – заработала электролебедка. При спуске вниз запертые за бронированным стеклом прогулочной палубы женщины и дети увидели практически пустой бот, а спускавшаяся пара на миг разглядела за стеклом эту человеческую массу. Они могли бы помахать друг другу руками. А вот то, что творилось внутри корабля, осталось незримым и потому невыразимым.

Знаю лишь, как спасли мать. «Только громыхнуло в последний раз, у меня начались схватки...» Когда ребенком я слышал ее рассказ, мне казалось, будто речь идет о некоем

приключении. «Тогда дядя врач сделал мне укол...» Уколов она боялась, «зато схватки сразу прекратились...»

Видимо, это был доктор Рихтер; старшая медсестра родильного отделения помогла ему провести двух молодых матерей с младенцами по скользкой солнечной палубе, после чего всех троих женщин посадили в спасательную шлюпку, которая уже висела на шлюпобалке. Еще одну беременную женщину, а также женщину, у которой недавно произошел выкидыш, он сумел позднее разместить на одной из последних шлюпок – на сей раз уже без помощи сестры Хельги.

По словам матери, крен вскоре усилился настолько, что тридцатимиллиметровую кормовую зенитку вырвало из гнезда и она рухнула за борт, раскрошив вдребезги уже спущенную на воду шлюпку, битком набитую людьми. «Совсем рядом упала. Повезло нам...»

Итак, я покинул тонущий лайнер в материнской утробе. Наша шлюпка отвалила от него и, лавируя между плавающими живыми людьми и трупами, отошла на некоторое расстояние от кренящегося корабля, о котором – пока не поздно – мне хотелось бы поведать еще одну-другую историю. Например, о любимом всеми судовом парикмахере, собиравшем на протяжении нескольких лет все более редкие серебряные пятимарочные монеты. С этим кошельком на брючном поясе он и прыгнул в море, серебряники тут же потянули на дно... Но нет, рассказывать мне не дают...

Мне советуют быть более лаконичным, точнее, мой Заказчик настаивает на этом. Поскольку, дескать, у меня все равно нет слов для тысяч смертей в недрах корабля и в ледяных волнах, для немецкого реквиема, для этой морской «пляски смерти», то следует изъясняться менее многословно, а лучше сразу перейти к делу. Он имеет в виду мое появление на свет.

Но пока этот момент еще не наступил. Люди в той шлюпке, где сидела мать без родителей и без каких-либо вещей, но зато с приостановленными схватками, могли видеть на все большем удалении при каждом взлете волны накренившийся и тонущий лайнер. Судно сопровождения также держалось из-за сильного шторма несколько в стороне, обшаривая прожекторами палубные надстройки, застекленную прогулочную палубу, накренившуюся солнечную палубу, поэтому со спасательной шлюпки было видно, как люди по отдельности или целыми гроздьями падали за борт. А поблизости мать и остальные, все, кто хотел это видеть, могли увидеть, как плавают спасательные жилеты, иногда в них барахтались живые люди, которые кричали пронзительно или уже ослабевшими голосами, умоляя взять их в шлюпку, а среди них качались уже мертвые, похожие на уснувших. Ужаснее всего, по словам матери, был вид мертвых детей: «Все они падали с корабля головками вниз. Так они и застряли в своих громоздких жилетах ножками вверх...»

Позднее, когда ученики бригады столяров или очередной сожитель матери спрашивали ее, отчего у нее, совсем еще молодой женщины, так побелели волосы, она отвечала: «Это произошло, когда я деток увидела, как они вниз головками плавали...»

Возможно, только тогда или именно тогда она испытала настоящий шок. В мои ранние детские годы, когда матери было всего лет двадцать, ее короткие белые волосы служили ей чем-то вроде трофея. Всякий раз, когда о них заходил разговор, она затрагивала тему, запрещенную в рабоче-крестьянской стране: «Вильгельм Густлофф» и его гибель. Порой как бы мимоходом и осторожно она упоминала и советскую подлодку с тремя торпедами, причем в этих случаях мать выражалась несколько выпендренно, называя командира С-13 и его экипаж «героями советского флота, с которыми наших трудящихся связывает нерушимая дружба».

В то время, когда, по словам матери, ее волосы внезапно побелели – это было примерно через полчаса после торпедных попаданий, – экипаж ушедшей на глубину подлодки замер, ожидая глубинных бомб, однако атаки не последовало. Не приближались шумы корабельных винтов. Не было ничего, что напоминает обычные драматические сцены в фильмах про подводников. Только акустик Шнапцев, обязанный с помощью наушников регистрировать все

внешние шумы, слышал звуки, доносившиеся из корабельных недр: скрежет, с которым блоки двигателей вылезали из креплений, треск, с которым после короткого скрипа рушились под напором воды переборки, а также другие звуки, плохо поддающиеся идентификации. Все это он вполголоса докладывал командиру.

Тем временем была обезврежена посвященная Сталину торпеда, застрявшая во втором пусковом аппарате, на подлодке в соответствии с приказом командира воцарилась тишина, поэтому акустик смог уловить помимо звуков, доносившихся из гибнущего и безымянного для него корабля, отдаленный шум винта – это медленно двигалось судно сопровождения. Отсюда опасности ждать не приходилось. Человеческих голосов акустик не различал.

Это был миноносец, который на малых оборотах удерживал позицию, подбирая из воды спасательными стропами, укрепленными на леерных ограждениях, живых и мертвых. Единственный маленький катер обледенел, к тому же у него не заводился мотор, поэтому им нельзя было воспользоваться для спасательных работ. Вся надежда оставалась только на стропы. Таким образом на борт подняли около двух сотен уцелевших.

Когда в свете поисковых прожекторов миноносца «Лёве» появились первые спасательные шлюпки, с трудом сумевшие отойти от накренившегося и тонущего лайнера, оказалось, что из-за высокой волны им очень трудно пришвартоваться к миноносцу. Мать, сидевшая в одной из таких шлюпок, рассказывала: «Иногда волна подымала нас так высоко, что с гребня мы смотрели вниз на „Лёве“, а затем мы падали в провал, и тогда „Лёве“ взлетал над нами...»

Лишь на несколько мгновений спасательные шлюпки поднимались на уровень леерных ограждений миноносца, за это время иногда удавалось переправить туда со шлюпки нескольких человек. Если прыжок не получался, человек исчезал в прогале между бортами. Матери повезло, она попала на борт этого военного судна, водоизмещение которого насчитывало всего 768 тонн; оно сошло со стапелей норвежской верфи в 1938 году под названием «Гиллер», числилось в норвежском флоте, но после оккупации Норвегии в 1940 году отошло как трофей немецкому военно-морскому флоту.

Как только два матроса перенесли на борт миноносца с упомянутой предысторией мать, потерявшую при этом обувь, едва они закутали ее в одеяло и поместили в каюту вахтенного механика, у матери вновь начались схватки.

Хорошо бы поиграть в исполнение желаний! Нет, я не хочу уклоняться от темы, как меня в этом подозревает сами знаете кто; однако, если бы у меня был выбор, я бы предпочел не быть рожденным матерью на миноносце «Лёве», а стать тем найденышем, которого через семь часов после того, как затонул «Вильгельм Густлофф», спас малый дозорный корабль VP-1703. Это произошло, когда другие пришедшие на помощь корабли, особенно миноносец T-36, пароходы «Готенланд» и «Геттинген», выловили из бушующей ледяной каши, среди льдин и мертвых тел немногочисленных уцелевших.

Капитану малого дозорного судна VP-1703, находившегося в Готенхафене, доложили о получении сигнала SOS, который непрерывно давал в эфир радист с «Лёве». Капитан сразу же вышел в море на своей проржавевшей посудине, но нашел уже лишь множество плавающих трупов. Тем не менее он продолжал обшаривать прожекторами водную поверхность, пока не поймал лучом вроде бы пустую шлюпку. Спустившись в нее, обермаат Фик обнаружил рядом с окоченевшими трупами женщины и девочки-подростка свернутый шерстяной плед, превратившийся в ледяной ком; сверток перенесли на VP-1703, отодрали ледяную корку, размотали, и появился тот младенец, которым хотел бы быть я, – сирота-найденш, последний из спасенных с «Вильгельма Густлоффа».

Случайно именно в эту ночь на малом дозорном судне находился дежурный врач флотилии, который нащупал у младенца еле заметный пульс, тотчас начал делать искусственное дыхание, рискнул впрыснуть камфору и не успокоился, пока младенец – это был мальчик – не открыл глаза. Оценив возраст найденыша в одиннадцать месяцев, врач

занес все подробности во временную метрику: отсутствие имени и фамилии, неизвестное происхождение, примерный возраст, день и время спасения, фамилию и звание спасителя.

Вот чего бы мне хотелось: чтобы родился я не тогда, когда это произошло на самом деле, не в тот фатальный день 30 января, а в конце февраля или начале марта сорок четвертого года, в каком-нибудь захолустном уголке Восточной Пруссии, мать – Безымянная, папаша – Неизвестный, приемный отец – мой спаситель, обермаат Вернер Фик, который при первой же возможности, а именно в Свинемюнде, отдал меня под присмотр своей супруги. Вместе с приемными родителями, которые сами были бездетны, я переселился бы по окончании войны в британскую оккупационную зону, в разбомбленный Гамбург. Но спустя год мы перебрались бы на родину Фика, в Росток, который относился к советской оккупационной зоне и тоже был разбомблен, зато там Фик сумел найти жилье. Дальше все пошло бы параллельным курсом к биографии матери, все было бы так же – пионерский отряд с флажком, марши Союза свободной немецкой молодежи, только пестовало бы меня семейство Фиков. Мне бы это вполне понравилось. Отец и мать голубили бы меня, найденыша, пеленки которого не обнаружили никакого намека на мое происхождение; рос бы я среди панельных застроек, звали бы меня Петером, а не Паулем, я учился бы на инженера-кораблестроителя, позднее имел бы до самой «бархатной революции» падежную работу в качестве конструктора на ростокской верфи «Вулкан» и через полвека после собственного спасения, досрочно став пенсионером, принял бы участие один или с моими постаревшими приемными родителями в состоявшейся в курортном городе Дампе встрече уцелевших при катастрофе «Вильгельма Густлоффа», где меня, тогдашнего найденыша, торжественно пригласили бы на сцену для всеобщего чествования.

Но кто-то, должно быть треклятое провидение, оказался против. Иного варианта мне не дали. Не предоставилось шанса уцелеть в качестве безымянной находки. Запись вахтенного журнала гласила, что в благоприятный момент незамужнюю Урсулу Покрифке, беременную на последних сроках, удалось эвакуировать со шлюпки на борт миноносца «Лёве». Даже отмечено точное время: двадцать два часа пять минут. Пока смерть продолжала собирать на бушующем море и в недрах «Вильгельма Густлоффа» свою богатую добычу, уже ничто не препятствовало матери разрешиться от бремени.

Лишь еще одно замечание: рождение мое не было единственным. В арии «Умри и возродись!»²⁶оказалось еще несколько строф. И до, и после меня на свет появлялись младенцы. В частности, на миноносце Т-36 или на пароходе «Гёттинген», который подоспел позднее; имевший водоизмещение шесть тысяч тонн и принадлежащий северогерманской компании «Ллойд», он взял на борт в восточнопрусском порту Пиллау две с половиной тысячи раненых и более тысячи беженцев, среди них около сотни грудных детей. Во время плавания родились еще пятеро младенцев, последний – незадолго до того, как этот пароход, шедший в составе конвоя, достиг усеянного трупами места катастрофы, где уже почти смолкли крики о помощи. Но именно в тот момент, когда лайнер ушел под воду, через двадцать шесть минут после торпедных попаданий, вылез из материнской утробы только я один.

«Точно в ту минуту, когда потонул „Густлофф“, – как утверждает мать, а я уточняю: когда „Вильгельм Густлофф“, опускаясь носом и сильно кренясь на левый борт, затонул и одновременно перевернулся, причем с верхних палуб в бушующее море посыпались люди и штабеля спасательных плотов, все, что уже не могло удержаться, в ту секунду, когда, словно по неведомо откуда поступившему приказу, среди темноты, воцарившейся вокруг после торпедных попаданий, внезапно вспыхнуло полное освещение, включая палубный свет, как это бывало в мирные годы и во времена круизов СЧР, когда глазам каждого зрячего предстала вся торжественная иллюминация, когда наступил конец всему, состоялись мои вполне нормальные роды на узкой койке офицера-механика; я вышел головой вперед, без каких-либо осложнений, или, по словам матери: „Выскочил без задержки, и все дела...“

Всего этого мать, находясь на корабельной койке, не видела. Ни торжественной иллюминации на накренившемся и тонущем лайнере, ни гроздьев человеческих тел, падающих с задравшейся кормы. Но матери запомнилось, что моим первым криком был заглушен тот донесшийся издали тысячеголосый вопль, тот финальный вопль, который раздался отовсюду: из недр тонущего лайнера, с треснувшей застекленной прогулочной палубы, с захлестываемой волнами солнечной палубы, с быстро уходящего под воду носа, вопль разнесся над штормовым морем, где барахтались тысячи живых людей или дрейфовали, обмякнув в спасательных жилетах, мертвецы. Вопль раздался с заполненных или полупустых шлюпок, с плотиков, где теснились люди, они взмывали вверх на гребень вала и рушились вниз, в провалы, отовсюду неся этот вопль, к которому неожиданно присоединилась, создав жуть неимоверного двуголосия, корабельная сирена, чтобы так же внезапно умолкнуть. Это был неслышанный ранее коллективный вопль, о котором мать говорила и продолжает говорить: «Этот крик позабыть невозможно...»

Воцарившуюся потом тишину нарушало только мое хныканье. Но едва мне перерезали пуповину, умолк и я. Будучи свидетелем гибели лайнера, капитан миноносца зафиксировал точное время события в вахтенном журнале, после чего экипаж вновь принялся вылавливать из воды уцелевших.

Нет, все это неправда. Мать лжет. Уверен, что не на «Лёве»... Настоящее время было другим... Ведь уже тогда, когда вторая торпеда... И при первых схватках... Доктор Рихтер не делал укола, роды начались сразу... Все прошло гладко. На накренившемся столе. Все кренилось, когда я... Жаль только, что у доктора Рихтера не нашлось времени, чтобы заполнить от руки метрику: родился во столько-то часов и минут, на борту такого-то судна... Да, случилось это не на миноносце, а на чертовом лайнере, названном в честь Мученика, спущенном со стапелей, некогда белоснежном, весьма популярном, сулящем силу через радость, бесклассовом, трижды проклятом, переполненном людьми, покрашенном в серый военный цвет, пораженном торпедами, на до сих пор тонущем корабле родился я головою вперед и в накрененном положении. И уж только потом, когда новорожденному обрезали пуповину и завернули его в казенный шерстяной плед, мать с младенцем, опираясь на доктора Рихтера и старшую медсестру родильного отделения, перешла на участвовавший в спасательной операции миноносец.

Но ей не хочется, чтобы роды состоялись на «Вильгельме Густлоффе». Поэтому она выдумывает двух матросов, которые якобы занимались в каюте механика обрезанием моей пуповины. В следующий раз она вновь рассказывает о докторе, хотя тот на это время еще не находился на борту миноносца. Сама мать, которая обычно помнит все до мельчайших подробностей, колеблется в своих свидетельских показаниях, упоминая, кроме «двух матросов» и «дяди врача, который сделал укол», еще и третье лицо, активно способствующее принятию родов, а именно капитана миноносца «Лёве» Пауля Прюфе: в этой версии он обрезал пуповину собственноручно.

Поскольку сам я не располагаю какими-либо данными, подтверждающими ту или иную версию – я бы назвал их, скорее, «фантазиями на тему» моего рождения, – мне приходится руководствоваться фактами, изложенными Хайнцем Шёном, согласно которым доктор Рихтер попал на борт миноносца только после полуночи. Лишь тогда он сумел помочь при родах другого ребенка. Во всяком случае, достоверно то, что судовой врач «Вильгельма Густлоффа» выписал мне задним числом официальное свидетельство о рождении, датированное 30 января 1945 года без указания точного времени. Своим именем я обязан капитан-лейтенанту Прюфе. Мать настояла, чтобы меня назвали Паулем, «непрерменно так же, как звали капитана с „Лёве“, а фамилию мне, разумеется, дали – Покрифке. Впоследствии и в школе, и в Союзе свободной немецкой молодежи, и среди знакомых журналистов за мною закрепилась кличка „Пепе“, поэтому и свои статьи я подписываю инициалами „П.П.“.

Кстати, мальчика, который родился на миноносце двумя часами позже меня, то есть уже 31 января, назвали по желанию его матери Лео – в честь корабля-спасителя.

Обо всем этом, о моем рождении, о тех людях, которые ему способствовали на том или ином судне, в Интернете не спорили; на сайте моего сына Пауль Покрифке вообще не упоминался, даже в виде инициалов. Насчет меня царило абсолютное молчание. Мой сын проигнорировал меня. В Сети меня не существовало. Зато вокруг еще одного судна, прибывшего в сопровождении миноносца Т-36 на место катастрофы в ту минуту, когда «Густлофф» затонул или чуть позже, вокруг тяжелого крейсера «Адмирал Хиппер», между Конрадом и его оппонентом, называвшем себя Давидом, разгорелись ожесточенные препирательства, которые получили отголоски глобального характера.

Фактические обстоятельства, действительно, таковы, что «Адмирал Хиппер», тоже переполненный беженцами и ранеными, на краткое время застопорил двигатели, но затем продолжил движение курсом на Киль. Претендуя на компетентность в военно-морских делах, Конрад заявлял, что последовавшее с миноносца предупреждение о возможной атаке вражеской подлодки являлось вполне достаточным основанием для тяжелого крейсера, чтобы уйти с места катастрофы, однако Давид возражал: «Адмирал Хиппер» мог хотя бы спустить некоторые из своих мотоботов и оставить их для участия в спасательной операции. Кроме того, совершив маневр возврата на прежний курс, эта махина водоизмещением в десяток тысяч тонн затем полным ходом пересекла район катастрофы, отчего, дескать, десятки людей, плававших в воде, попали под водовороты кильватерной струи, а в ряде случаев их разрубило корабельными винтами.

На это мой сын заверил, что точно знает: радары судна сопровождения не только установили присутствие в районе вражеской подлодки, сам Т-36 непосредственно подвергся атаке, но сумел увернуться от двух торпед. Давид же выступил с контраргументами, излагая их с такой убежденностью, будто самолично находился тогда под водой: мол, добившись успеха, советская подлодка убрала перископ и затаилась, а потому не могла выпустить ни одной торпеды, зато глубинные бомбы, сбрасываемые миноносцем Т-36, действительно детонировали, разрывая в куски тех, кто держался в воде на плаву благодаря спасательным жилетам и молил о помощи. То есть уже после трагедии в качестве ее эпилога состоялось новое массовое убийство.

Далее Сеть явила безграничные возможности современной коммуникации. К спору примешались другие, как местные, так и заграничные голоса. Пришла весточка даже с Аляски. Настолько актуальной оказалась тема гибели давно забытого корабля. Сигналом «Густлофф» тонет!», приобретшим вполне современное звучание, сайт моего сына открыл для всего мира дискуссию, которой, даже по признанию Давида, «давно пора было состояться». Вот именно! Отныне каждый должен знать, что произошло 30 января 1945 года в районе Штольпебанк, и иметь возможность судить об этом; редактор сайта отсканировал карту Балтийского моря и весьма наглядно сумел указать маршруты всех кораблей, побывавших на месте трагедии.

К сожалению, оппонент Конрада не смог удержаться в конце глобально расширившейся перепалки от напоминаний о еще одном значении злополучной даты, а также о человеке, именем которого был назван корабль, охарактеризовав убийство партийного функционера Вильгельма Густлоффа студентом-медиком Давидом Франкфуртером «как факт, с одной стороны, прискорбный для его вдовы, но, с другой стороны, перед лицом страданий еврейского народа как необходимый и провидческий поступок»; более того, он увидел в победе маленькой подлодки над громадным лайнером продолжение «извечной битвы Давида с Голиафом». Далее в его сетевом выступлении патетика усилилась, в ход пошли даже выражения «родовое бремя исторического наследия» и «необходимость искупления». Он воздал хвалы снайперскому искусству командира подлодки С-13, назвав его достойным продолжателем дела меткого студента-медика: «Мужество Александра Маринеско и героизм Давида Франкфуртера никогда не будут забыты!»

Чат тут же захлестнули злобные тирады. «Еврейское отродье» и «лжецы, плетущие небылицы об Аушвице», были далеко не самой крепкой бранью. Если актуальной сделалась

тема гибели лайнера, то не менее злободневным стал для Сети и клич «Бей жидов!». Потоки ненависти, водовороты злобы. Боже мой! Сколько же этого накопилось, сколько ищет выхода наружу, стремится стать реальным действием.

Впрочем, мой сын проявлял сдержанность. Его вопрос был сформулирован довольно вежливо: «А сам ты, Давид, не еврейских ли, случаем, кровей?» На что получил неоднозначный ответ: «Дорогой Вильгельм, если тебе угодно и если тебе станет от этого легче, можешь при первой же удобной возможности отправить меня в газовую камеру».

7

Черт его знает, кто обрюхатил мать. То она утверждает, будто дело было в Лангфуре на Эльзенштрассе, где они устроились с кузеном в сарае для пиломатериалов, то речь заходит о рядовом вспомогательной службы ВВС с зенитной батареей под Кайзерхафеном – «с видом на гору костей», то она снова вспоминает фельдфебеля, который якобы скрипел зубами при акте зачатия. Неважно, кто ее трахал, для меня любой из вариантов означал лишь одно: я родился и вырос без отца, чтобы со временем самому стать отцом.

Во всяком случае Ровесник матери, имевший с Туллой якобы лишь некоторое знакомство, готов мне объяснить вкратце превратности моей судьбы. По его мнению, мой крах в отношениях с сыном хотя и вполне очевиден, однако, если мне угодно, моя родовая травма может служить смягчающим обстоятельством при признании моей отцовской несостоятельности. Тем не менее, дескать, при всем интересе к разным предположениям частного характера не следует отвлекаться и от фактической стороны излагаемых событий.

Большое спасибо! Увольте меня от подобных объяснений. Мне всегда были противны окончательные суждения. Знаю лишь одно: моя скромная персона существует на свете случайно, ведь в каюте капитана Прюфе, где раздался мой первый крик, смешиваясь с тем воплем, который кажется матери нескончаемым, на соседней койке лежали под одеялом три замерзших насмерть младенца. Потом к ним добавились другие синюшные трупы.

После того как десятитысячетонный тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» сделал разворотный маневр, разрубая своими винтами живых и мертвых и увлекая их своей кильватерной струей, поиски были продолжены. На помощь обоим миноносцам пришли другие суда, кроме пароходов еще и несколько тральщиков, один торпедолов и, наконец, дозорное судно VP-1703, спасшее уже упоминавшегося найденыша.

На этом спасения закончились. Теперь вылавливались только мертвецы. Младенцы, ножками вверх. В конце концов море над этой братской могилой успокоилось.

Я могу назвать цифры, но они неверны. Все очень приблизительны. Впрочем, цифры мало о чем говорят. Они в принципе противоречивы. Числа со множеством нулей вообще не укладываются в голове. Подсчитанное количество тех, кто находился на борту «Вильгельма Густлоффа», колебалось на протяжении десятилетий от шести тысяч шестисот до десяти тысяч шестисот человек; количество уцелевших также постоянно корректировалось: вначале говорилось о девяти сотнях, под конец о тысяче двухстах тридцати девяти спасенных. Без надежды на ответ можно задаться вопросом: жизнью больше или меньше, что это значит?

Да, погибли преимущественно женщины и дети; в неприлично очевидном большинстве спаслись мужчины, в том числе все четыре капитана. Петерсен, умерший вскоре после войны, первым позаботился о себе. Цан, ставший в мирные времена предпринимателем, потерял только своего пса Хассана. Ни в какое сравнение с примерно пятью тысячами утонувших, замерзших, затоптанных на трапах детей не идет количество рождений, зарегистрированных непосредственно до и сразу после катастрофы; меня вообще не надо брать в расчет.

Большинство уцелевших было высажено на берег в Заснице на острове Рюген, в Кольберге и Свинемюнде. В пути умерло немало из тех немногих, кто был спасен. Некоторое количество уцелевших и погибших было возвращено в Готенхафен, где оставшимся в живых пришлось дожидаться новых транспортных судов. Бои за Данциг шли с конца февраля, город

горел, истекал потоками беженцев, которые до последней возможности заполняли пароходы, паромные баржи и рыбацкие катера, отходящие от причалов.

Миноносец «Лёве» прибыл в порт Кольберга ранним утром 31 января. Вместе с матерью, которая несла на руках запеленутого младенца, на берег сошел Хайнц Кёлер. Один из четырех переругавшихся капитанов затонувшего лайнера, он – едва война закончилась – свел счеты с жизнью.

Больных, ослабевших, всех, у кого были обморожены ноги, увезли санитарные машины. Характерно, что мать причислила себя к тем, кто мог передвигаться самостоятельно. Каждый раз, когда в ее бесконечной истории дело доходило до эпизода с первым сошествием на берег, она говорила: «А ведь я почти босой была, в одних чулках, пока какая-то старуха, тоже беженка, не отдала мне из своего чемодана пару ботинок. Сидела она на телеге у обочины, даже не догадываясь, кто мы и что нам довелось пережить...»

Похоже, так оно и было. О гибели любимого лайнера из флотилии СЧР в Рейхе не сообщалось. Такие сообщения могли подорвать у населения стойкость духа. Ходили только слухи. Однако и у советского Главного командования нашлись какие-то причины не упоминать в ежедневных сводках об операциях Краснознаменного Балтийского флота про успех подлодки С-13 и ее командира.

Говорят, вернувшись в порт Турку, Александр Маринеско был весьма разочарован тем, что ему не устроили встречи, достойной героя, хотя за время последнего боевого похода он потопил двумя торпедами еще один корабль – бывший океанский лайнер «Генерал фон Штойбен». Атака кормовыми аппаратами состоялась 10 февраля. Корабль водоизмещением в пятнадцать тысяч тонн, имевший на борту около тысячи беженцев и двух тысяч раненых – опять эти округленные цифры, – шел из Пиллау. Он затонул за семь минут, погружаясь носом. Спаслись примерно три сотни человек. Часть тяжелораненых лежали тесными рядами на верхней палубе быстро тонущего корабля. Вместе с койками они просто выпали за борт. Атака производилась с глубины боевого порядка с выдвинутым перископом.

Тем не менее Главное командование Краснознаменного Балтийского флота не спешило представить командира, добившегося двух замечательных побед и вернувшегося на своей подлодке на базу, к званию Героя Советского Союза. Оно медлило. Командир и экипаж напрасно ждали традиционного в таких случаях банкета с жареным поросенком и большим количеством водки, а война тем временем шла на всех фронтах дальше, приближаясь на померанском участке к Кольбергу. Поначалу мать и я оставались там, получив пристанище в школе, о которой мать вспоминала позднее, выражаясь так, как говорили в Лангфуре: «Там хоть тепло было. А крышка от дряхлой парты стала твоей первой люлькой. Я даже думала: вот как рано у меня сынок за учебу взялся...»

От артиллерийских обстрелов школа перестала быть пригодной для жилья, поэтому мы переселились в казематы. Город Кольберг имел историческую славу стойкой крепости. Со своих валов и бастионов он давал отпор войскам Наполеона, что натолкнуло Министерство пропаганды на идею создать на студии «Уфа» героический фильм под названием «Кольберг»²⁷ с Генрихом Георге и с другими кинозвездами. Этот цветной фильм демонстрировался во всех уцелевших от бомбежек кинотеатрах Рейха: героическое противостояние превосходящим силам противника.

Теперь, в конце февраля, история Кольберга повторилась. Вскоре сам город, порт, морской курорт были окружены частями Красной армии и польской дивизией. Под сильным артиллерийским огнем началась эвакуация морем гражданского населения города и заполонивших его беженцев. Опять жуткая давка на всех причалах. Мать же категорически отказалась подниматься на борт какого бы то ни было корабля. «Меня бы тогда ни на одну посудину даже палкой не загнали...» – говорила она, когда кто-нибудь интересовался, как она выбралась из осажденного и горящего города с ребенком на руках. «Ну, щелочка-то всегда

найдется», – отвечала она. Во всяком случае, и позднее, например во время бригадных вылазок на Шверинское озеро, она никогда не плавала на кораблях.

В середине марта мать с рюкзаком за спиной и со мною на руках пробралась через русские позиции, но возможно, что русские патрули и сторожевые посты проявляли сочувствие несчастной молодой женщине с грудным младенцем и просто давали нам уйти. Если я и называю себя на период нашего вторичного бегства грудным младенцем, то это верно не совсем: груди у матери были пустыми. Молока у нее не было. На миноносце выручила роженица из Восточной Пруссии, у которой молока оказалось больше чем достаточно. Затем помогла беженка, потерявшая в пути ребенка. Да и потом, пока мы находились в бегах и позднее, меня всегда кормили чужие груди.

К этому времени все города на померанском побережье были уже либо заняты противником, либо это вот-вот должно было произойти: Штеттин попал в окружение, Свинемюнде еще держался. Дальше на восток все города уже сдались: Данциг, Сопот, Готенхафен. Части советской Второй армии отрезали полуостров Хела; западнее, на Одере, уже шли бои за Кюстрин. А Кобленц, находящийся на слиянии Рейна и Мозеля, захватили американцы. В конце концов союзные войска перешли по мосту Ремагена на правый берег Рейна. На Восточном фронте группа армий «Центр» сообщала, что в Силезии некоторые участки удалось вернуть, однако положение крепости Бреслау²⁸ становилось все более критическим. К тому же не прекращались налеты американских и английских бомбардировочных соединений на крупные и средние города. Еще дымилась, к радости английского маршала ВВС Хэрриса²⁹, руины Дрездена, а бомбы уже падали на Берлин, Регенсбург, Бохум, Вупперталь... Целями налетов неоднократно становились плотины водохранилищ. И всюду, превращая «натиск на Восток» в «натиск на Запад», шли беженцы, которые, собственно, не знали толком, куда им идти.

У матери тоже не было определенной цели, когда, неся на руках свое самое ценное имущество, то есть меня, постоянно ноющего из-за отсутствия материнского молока, она выбралась из Кольберга и очутилась между двух линий фронта; мать двигалась ночами, иногда ее подбирала какая-нибудь повозка или армейская полевая кухня, но обычно приходилось идти пешком среди тех, кто брел с постоянно уменьшающимся скарбом, и все чаще люди бросались наземь под обстрелом штурмовиков, пронесившихся на бреющем полете; она старалась уйти подальше от побережья, постоянно ища молодых матерей с избытком грудного молока, пока не дотащилась до Шверина. О своих странствиях она рассказывала мне то так, то эдак. Вообще ей хотелось пересечь Эльбу, двинуться дальше на Запад, но застряли мы именно здесь, в неразрушенной мекленбургской столице. Это было на исходе апреля, когда Вождь покончил с собой.

Позднее, будучи столярным подмастерьем, она, окруженная мужчинами, отвечала на расспросы о своих скитаниях: «Про это целый роман можно написать. Страшней всего были штурмовики на бреющем. Летят над самой головой, и тра-та-та-та... Только нам везло. Ведь сорная трава, как говорится, живуча...»

И тут уж она переходила к своей излюбленной вечной теме гибнущего корабля. Все остальное ее не волновало. Даже на тесноту нашего временного пристанища – а нас опять разместили в школе – мать особенно не жаловалась, поскольку к этому времени уже знала, что очутилась со своим сыночком Паулем в городе, где некогда родился человек, именем которого в казавшиеся мирными времена был назван тот злополучный корабль. Имя его встречалось здесь повсюду. Даже школа, где мы жили, носила его имя. В ту пору, когда мы прибыли в Шверин, это имя можно было встретить едва ли не на каждом шагу. Так, на южном берегу озера еще был цел сооруженный из валунов Мемориал героев, там красовался огромный гранитный камень, поставленный в честь Мученика в тридцать седьмом году. Уверен, именно поэтому мать и осталась в Шверине.

Примечательно, что с тех пор как гибель лайнера привлекла к себе – пусть с запозданием – столь большое внимание, будто состоялась совсем недавно, с тех пор как начались подсчеты, округления и уточнения количества смертей и, наконец, при сравнении было выяснено, что катастрофа «Титаника» унесла значительно меньшее число жизней, в тех краях всемирной Паутины, которые я обычно посещал, неожиданно воцарилась тишина. Я уж было подумал, что сервер моего сына дал сбой или же ему самому все это просто надоело, его перестала интересовать тема вечно тонущего корабля и, соответственно, он освободился от влияния со стороны матери. Но тишина оказалась обманчивой. Так же неожиданно появился его обновленный сервер с уже известной мне направленностью.

На сей раз преобладал иллюстративный материал. Посетителям предьявлялась фотография довольно невысокого качества, зато сопровождавшаяся пояснением, данным крупным шрифтом; на ней всем любопытствующим демонстрировался огромный гранитный камень, на котором виднелась руна жизни, а под ней готическими буквами было высечено имя Мученика. Рядом с фотографией размещались материалы, характеризующие его значимость: назывались ключевые биографические даты, перечислялись организаторские свершения, приводились сопровождавшиеся восклицательными знаками цитаты, указывались день и час его убийства на легочном курорте Давосе.

Будто по приказу или иному понуждению тут же объявился и Давид. Поначалу темой их диалога стал не памятный камень, а убийца Мученика. Давид, торжествуя, сообщал, что в марте сорок пятого в судьбе Давида Франкфуртера, отсидевшего более девяти лет, произошел счастливый поворот. После безуспешных попыток добиться пересмотра дела бернские адвокаты Бруншви́г и Раас направили Большому совету кантона Граубюнден ходатайство о помиловании. Оппонент моего сына не мог не признать, что решение простить Франкфуртеру остаток от назначенного по приговору общего восемнадцатилетнего срока состоялось лишь 1 июня 1945 года, то есть уже после завершения войны. Швейцария выжидала, чтобы убедиться, что великодержавный сосед окончательно повержен. Освободив из тюрьмы Зенхоф, Давида Франкфуртера тут же выслали из страны, и он прямо от ткацкого станка решил отправиться в Палестину с надеждой на рождение государства Израиль.

Дальше спор между сетевыми оппонентами пошел в довольно сдержанных тонах. Конни великодушно заявил: «Ничего против Израиля не имею. Там еврею-убийце и место. Может, пользу принесет какому-нибудь киббуцу». Он даже выразил восхищение израильской армией. И уж полнейшее одобрение вызывала у него решимость Израиля продемонстрировать свою твердость. Дескать, израильтянам не остается другого выбора. По отношению к палестинцам и другим мусульманам нельзя идти ни на малейшие уступки. Он бы только приветствовал, если бы все евреи, как этот убийца Франкфуртер, свалили бы в Землю обетованную, «тогда остальной мир очистился бы от евреев».

К этим чудовищным заявлениям Давид отнесся спокойно, он в принципе даже согласился с моим сыном. Судя по всему, его беспокоила безопасность проживающих в Германии еврейских сограждан, к которым он причислял и себя; по его словам, ожидать тут можно самого худшего, так как антисемитизм стремительно усиливается. Он, мол, опять подумывает об отъезде из страны. «Пожалуй, придется вскоре паковать чемоданы...» Пожелав счастливого пути, Конни намекнул, что был бы не прочь до отъезда повидать своего противника-приятеля, с которым до сих пор поддерживал только сетевые контакты: «Недурно было бы познакомиться, сойтись немножко поближе, причем хорошо бы это дело не откладывать...»

Он даже предложил место желательной встречи, хотя вопрос о дате оставил открытым. Встреча должна была состояться там, где раньше в Мемориале героев возвышался гранитный камень и где сегодня ничто не напоминает о Мученике, поскольку осквернители могил убрали и камень, и мемориал; словом, речь идет о том историческом месте, где в недалеком будущем необходимо восстановить памятник.

И опять разгорелся спор. Давид хотя и выразил готовность встретиться, но только не в этом проклятом месте. «Категорически протестую против твоего исторического ревизионизма...» Мой сын отвечал не менее громкой тирадой: «Кто забывает историю собственного народа, тот не достоин ее!» С этим Давид согласился. Потом они начали дурачиться. Даже обмениваться анекдотами. Например: в чем разница между электронной почтой и обычной? Ответа я так и не узнал, поскольку вышел из Интернета.

В последнее время я неоднократно бывал в тех местах. Последний раз пару недель назад. Казался себе преступником, которого тянет на место преступления, а еще чувствовал себя отцом, идущим по следу сына.

Из Мельна, где мы с Габи так и не подобрали верных слов для разговора, направился в Ратцебург. Оттуда двинулся на восток через Мустин, деревушку, за которой раньше дорога была закрыта и начиналась граница с ее «полосой смерти». До сих пор ряды старых каштанов, которыми обсажено шоссе, обнаруживают трехсотметровую прореху: деревьев нет ни слева, ни справа. Можно себе только представить, в сколь глубоко эшелонированной обороне нуждалось государство рабочих и крестьян для защиты собственных граждан.

После того как прореха осталась позади, за появившимися вновь по обеим сторонам дороги каштанами до самого горизонта простерлись поля Мекленбурга. Местность равнинная, совсем мало леса. За Гадебушем я свернул на новую объездную дорогу. Мимо мелькали рынки стройматериалов, большие универмаги, плоские комплексы авторынков, которые пытались обвисшими флагами оживить покупательский спрос. Дикий Восток! Лишь ближе к Шверину по бокам шоссе возникли низкорослые деревья, а местность стала слегка холмистой. Затем пошли довольно большие участки леса, я слушал третью программу радио: классическая музыка по заявкам.

Потом я свернул на сто шестое шоссе по направлению к Людвигслусту и въехал в разделенный на кварталы район панельной застройки Гроссер Дреш, где раньше проживали около пятидесяти тысяч граждан ГДР; здесь, в третьем квартале, я припарковал свою «мазду» рядом с памятником Ленину у поворота на Гагаринштрассе. Погода была сносной. По крайней мере, дождь не шел. Вокруг стояли жилые кварталы, уже санитованные и выкрашенные в пастельные тона.

Каждый раз, когда я навещаю мать, меня удивляет, что сделанная эстонским скульптором здоровенная бронзовая фигура все еще сохраняется на своем месте. Взгляд Ленина хоть и устремлен на запад, однако скульптор не удостоил его какого-либо целеуказующего жеста. Засунув обе руки в карманы, будто остановившийся, чтобы передохнуть, прохожий, Ленин стоит на низеньком цоколе, в уголке гранитной ступеньки вмурована бронзовая табличка, где крупными буквами выгравировано напоминание о событии революционного характера: «ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ». Пальто имеет следы какой-то невыразительной надписи, сделанной спреем. Плечи слегка запятнал голубиный помет. Чистыми оказались только мятые брюки.

На Гагаринштрассе я задержался недолго. С одиннадцатого этажа из материнской квартиры с балконом открывается вид на соседнюю телебашню. Без ее кофе, как всегда чересчур крепкого, дело не обошлось. После ремонта панельных домов квартплата выросла, но это повышение, по словам матери, оказалось вполне терпимым. Об этом и зашел разговор, только об этом. Больше говорить нам было не о чем. Ее даже не заинтересовало, зачем – кроме краткого визита к ней – я еще прибыл в город множества озер: «Уж, во всяком случае, не из-за дня рождения Вождя!» Впрочем, дата моего приезда давала ей возможность угадать его цель, поэтому, приоткрыв мне дверь в комнату Конни, она не пустила туда, сказала: «Не стоит. Тут уж ничего теперь не поможет».

По Гамбургераллее, которая раньше называлась Лениналлее, я поехал к зоопарку, потом к району Амхексенберг, где оставил машину и с уверенностью лунатика нашел то самое место, за молодежной турбазой. Позади серого строения ранних пятидесятых годов крутым обрывом идет вниз обсаженный деревьями высокий южный берег Шверинского озера. Внизу,

у самой кромки воды, виднелась дорожка Францозенвег, которой любят пользоваться пешеходы и велосипедисты.

Погода тем временем разгулялась. Хотя на апрель было еще не очень похоже. Солнышко, если пробивалось сквозь тучи, даже пригревало. Неподалеку от входа в здание турбазы лежали, будто ничего и не произошло, поросшие мхом обломки гранитных плит, оставшиеся от разрушенного мемориала. Между посаженными тогда деревьями разросся дикий худосочный кустарник. Отчетливо выделялся квадратный фундамент мемориала, лишь слегка присыпанный сверху землей, но если этот абрис легко угадывался, то вставшее поперек здание турбазы закрывало перспективу, поэтому вообразить, как выглядело продолжение мемориала, было уже невозможно. Слева от входной двери строгим шрифтом были выведены имя и фамилия Курта Бюргера, рядом ждал игроков стол для пинг-понга. На дверях висела покосившаяся табличка: «Закрыто с 9 до 16 часов».

Я долго стоял между замшелых гранитных обломков, на одном из которых даже сохранился рунический знак. Останки, из какого века?

Когда мы с матерью нашли прибежище в Шверине, здесь все еще было целым: рядами стояли валуны построенного нацистами Мемориала героев, высился большой гранитный камень с именем Мученика. Мать застала мемориал уже не очень ухоженным, хотя он и оставался на попечении партии, которая, впрочем, и сама приходила в упадок. Она рассказывала, что зашла сюда, к низеньким тогда дубам и букам, в поисках дров: «Там, где нас власти разместили, топить было нечем...» Многие женщины и дети занимались поисками топлива.

Еще до того, как 3 мая к Шверину сначала прорвались с плацдарма на Эльбе американские танки, а потом пришли англичане – «Это были настоящие шотландцы...», – нас перевели из довольно обветшавшего к концу войны района Шельфштадт, где мы жили в школьном подвале, на Лемштрассе. Здесь нас в принудительном порядке вселили в кирпичную хибару, крытую толем, которая находилась, естественно, на заднем дворе. До сих пор эта хибара стоит. У нас были две комнатухи и кухонька. Туалет во дворе. Нам даже поставили буржуйку. Вытяжная труба выходила в кухонное окно. Чтобы топить буржуйку – мать готовила на ней, – приходилось искать дрова по дальним окрестностям.

Так она добралась однажды до Мемориала. Даже когда в июне англичане ретировались, а вместо них пришла и надолго осталась Красная армия, валуны с высеченными именами и рунами еще долго продолжали стоять; русских это не волновало.

В соответствии с соглашением победителей, достигнутым в Потсдаме, мы очутились в советской зоне, для матери это был даже добровольный выбор, поскольку однажды она увидела на самом большом камне Мемориала, обращенном к озеру, знакомое ей имя: «Камень-то поставили в честь нашего Густлоффа...»

Во время моего последнего визита в Шверин я увидел меж обомшелых гранитных обломков на расколоте валуне остатки надписи, высеченной готическим шрифтом, и сумел разглядеть у самого скола буквы «гельм», сохранившиеся от имени и фамилии Вильгельм Даль; я не удержался от искушения представить себе, как мать занимается поиском дров, как она с вязанкой хвороста на плече обнаруживает еще целый Мемориал героев и входит в него. На полдюжине валунов она видит имена незнакомых ей, но наверняка заслуженных партийцев, среди них – Даль, руководитель округа Висмар. Вот она, маленькая, к тому же исхудавшая, стоит перед четырехметровым гранитным камнем, но ее мыслей я угадать не могу, потому, видимо, что ее сбила с толку неожиданность – прочитанная надпись на камне, воздвигнутом в честь Мученика. Во всяком случае, насколько я знаю мать, она не оробела и спокойно вошла в Мемориал.

Он был сложен на ровной земле из гранитных блоков. На отполированных колоннах, обрамлявших Мемориал, неизвестный современный скульптор высек в виде барельефов огромные фигуры штурмовиков-знаменосцев. Кроме того, внутри Мемориала, не имеющего крыши, находились восемь бронзовых табличек с именами покойников. И все восемь раз

рядом с датами рождения и смерти указывалась ее причина – «убит». Пол Мемориала был загажен. Это мне рассказывала мать: «Собаки гадили...»

Памятный гранитный камень в честь Вильгельма Густлоффа стоял отдельно от выстроенных рядами валунов на особом месте, которое хорошо просматривалось из Мемориала. С этого места открывалась широкая панорама озера. Но мать, наверное, смотрела в противоположную сторону. Впрочем, она никогда не брала меня па поиски дров. Пока она занималась этим, я оставался на Лемштрассе, где меня кормила грудью женщина, жившая по соседству, по фамилии Курбьюн. У матери и грудей-то почти не было, ни тогда, ни потом, только два острых кулечка.

Такая уж у памятников судьба. Одни сооружаются слишком поспешно, а потом, когда чрезвычайная героическая пора проходит, их убирают. Другие, как памятник Ленину на углу Гамбургераллее и Платерштрассе, продолжают стоять до сих пор. А вот памятник командиру подлодки С-13 был воздвигнут в Ленинграде, ныне Санкт-Петербурге, всего около десяти лет назад, 8 мая 1990 года, то есть через сорок пять лет после окончания войны и спустя двадцать семь лет после смерти Маринеско: на треугольной гранитной стеле установлен крупный бронзовый бюст, запечатлевший без головного убора человека, которому со значительным опозданием было присвоено звание Героя Советского Союза.

Бывшие морские офицеры, вышедшие теперь в отставку, организовали в Одессе, Москве и иных городах общественные комитеты, которые упорно добивались восстановления справедливости по отношению к капитану-подводнику, умершему в 1963 году. В Кенигсберге, как назывался Калининград до конца войны, его именем даже была названа набережная реки Преголь за областным музеем. Так она называется и до сих пор, а вот ведущая к бывшему Мемориалу героев шверинская Шлосгар-теналлее, переименованная с тридцать седьмого года в Вильгельм Густ-лоффаллее, носит свое первоначальное название; то же самое можно сказать и о Лениналлее, которой после «бархатной революции» вернулось прежнее название Гамбургераллее и которая ведет мимо проявившего историческую стойкость памятника к району панельной застройки Гроссер Дреш. Адрес матери также сохранил свою верность памяти космонавта Гагарина.

Тут обращает на себя внимание определенный пробел. Именем студента-медика Давида Франкфуртера нигде и ничего не названо. Нет ни такой улицы, ни школы. Нигде убийце Вильгельма Густлоффа не поставили памятника. Нет и в Сети сайта, который призывал бы соорудить скульптурную группу «Давид и Голиаф», например, на месте события – в Давосе. А если бы враг-приятель моего сына и выступил в Сети с подобной инициативой, то ему наверняка пригрозили бы с соответствующих серверов, что на уничтожение памятника высылаются спецкоманда бритоголовых.

Собственно, так было всегда. Ничто не вечно. Хотя окружное руководство НСДАП и лично обер-бургомистр Шверина приложили сразу после убийства Густлоффа немало сил к тому, чтобы Мемориал героев встал навеки. Уже в декабре тридцать шестого, когда в швейцарском кантоне Кур завершился процесс над Франкфуртером и был вынесен приговор, на полях Мекленбурга начались поиски валунов, чтобы выложить из них ограду Мемориала. В распоряжении говорилось: «Для указанной цели необходимы природные камни любых размеров, таковые камни надлежит собирать на полях в окрестностях Шверина...» А из письма гаушулюнгслайтера Роде следует, что столица округа Шверин чувствует себя обязанной оказать финансовую поддержку окружному партийному руководству «суммой до 10 000 рейхсмарок».

Когда к 10 сентября 1949 года ликвидация Мемориала и перенос праха и урн были по существу завершены, то связанные с этим расходы оказались гораздо меньше, ибо в тексте официального письма под денацифицированной шапкой обер-бургомистр сообщал: «Затраты, выставляемые в счет земельному правительству на предмет их возмещения, составили 6096,75 марок...»

Правда, здесь же указывалось, что «прах Вильгельма Густлоффа» перенести на городское кладбище не удалось, так как: «Урна Г., по свидетельству мастера-каменщика Крёпелина, вмурована в фундамент памятного камня. Изъятие урны представляется в настоящее время невозможным...»

Данное «изъятие» произошло лишь в начале пятидесятых, когда приступили к строительству молодежной турбазы, названной в честь недавно умершего антифашиста Курта Бюргера. К этому времени герой-подводник Маринеско уже три года находился в Сибири.

Вскоре после прибытия подлодки С-13 в финский порт Турку у ее капитана, который надеялся на почести, едва ли не при первом же выходе на берег начались проблемы. Хотя дело, заведенное на него в НКВД и пока не дошедшее до суда, представляло для него серьезную опасность, он, как в трезвом виде, так и разгоряченный алкоголем, продолжал сражаться за признание собственных героических заслуг. Правда, подлодку С-13 наградили орденом Красного Знамени, а все члены экипажа получили орден Отечественной войны, а также орден Красного Знамени, на котором красовались звезда с серпом и молотом, однако звания Герой Советского Союза Александр Маринеско так и не удостоился. Более того, в официальных сводках Краснознаменного Балтийского флота по-прежнему отсутствовало упоминание об уничтожении двадцатипятидесятника «Вильгельм Густлофф», ни слова не говорилось и о потоплении «Генерала фон Штойбена».

Дело выглядело так, будто носовые и кормовые аппараты подлодки безрезультатно выстрелили фантомными торпедами по несуществующим целям. Почти двенадцать тысяч душ, которые должны были бы значиться на личном счету командира, во внимание не принимались. Неужели главное флотское командование устыдилось столь большого и поддающегося лишь приблизительной оценке количества погибших детей, женщин и тяжелораненых? А может, успехи Маринеско затерялись в победной эйфории последних месяцев войны, когда героических поступков совершалось великое множество? Во всяком случае, его шумная настойчивость не могла быть не услышанной. Он не упускал ни малейшей возможности громогласно заявлять о своих победах. Это надоело.

В сентябре сорок пятого его лишили командования подлодкой, вскоре разжаловали в старшие лейтенанты, а в октябре уволили из военно-морского флота, обосновав эти три ступеньки последовательного унижения ссылкой на халатное отношение к исполнению служебных обязанностей.

После неудачной попытки устроиться в торговый флот – его признали якобы близоруким на один глаз – Маринеско нашел работу в качестве заведующего складом стройматериалов. Прошло совсем немного времени, и он, не предоставив достаточного количества убедительных доказательств, обвинил директора своего предприятия как в получении взяток, так и в даче взяток партийным функционерам, а также в спекуляции стройматериалами; в ответ против самого Маринеско были выдвинуты обвинения, что он, руководствуясь корыстными мотивами, раздавал материалы, пришедшие лишь в частичную негодность, чем нарушил закон. Особое судебное заседание приговорило его к трем годам лагерей.

Его отправили на Колыму, в те места «Архипелага ГУЛАГ», будни которых описаны в литературе. Лишь спустя два года после смерти Сталина Сибирь осталась для него позади, по крайней мере в географическом отношении. Он вернулся больным. Только в начале шестидесятых годов пострадавший герой-подводник был реабилитирован. Ему вернули звание капитана третьего ранга – правда, сейчас уже в отставке, – он получил право на пенсию.

А теперь мне опять придется вернуться назад. Поэтому скажу следующее. Когда на Востоке и на Западе объявили о смерти Сталина, я увидел мать плачущей. Она даже свечи зажгла. Мне было восемь лет, в школу не ходил из-за кори или какой-то другой хворобы, я

стоял у кухонного стола, чистил вареную картошку, которую мы собирались есть с творогом и маргарином, и вдруг увидел, как мать при зажженных свечах оплакивает Сталина. Картошка, свечи и слезы были тогда дефицитом. За все годы моего детства и до самых старших классов шверинской школы я никогда не видел мать плачущей. Когда она выплакалась, взгляд у нее сделался отсутствующим, таким, какой хорошо известен и тете Йенни с детских лет. Во дворе столярной мастерской на Эльзенштрассе в Ланг-фуре говорили по такому поводу: «Опять у Туллы выбиты окошки».

Итак, вдовсталь наплакавшись из-за смерти великого товарища Сталина и просидев довольно долго с отсутствующим видом, она принялась за вареную картошку с творогом и кусочком маргарина.

В ту пору мать уже стала мастером, возглавила на шверинской мебельной фабрике бригаду столяров, которая в плановом порядке выпускала спальные гарнитуры для братского Советского Союза, укрепляя тем самым дружбу народов. Хотя ее образ этих лет у меня несколько смутен, но вполне определенно можно сказать, что мать по сей день осталась сталинисткой, хотя в ответ на мои попытки в наших спорах развенчать ее героя теперь она уже только отмахивалась: «Ну и что, он тоже был всего лишь человеком...»

В ту пору, когда Маринеско знакомился с сибирским климатом и условиями пребывания в советских лагерях, мать хранила верность товарищу Сталину, а я, будучи пионером, гордился своим галстуком, Давид Франкфуртер, окончательно излечившись в тюрьме от костного заболевания, поступил на службу в израильское министерство обороны. Он женился. Позднее появились двое детей.

И еще кое-что произошло в эти годы: Хедвиг Густлофф, вдова убиенного Вильгельма, покинула Шверин. Теперь она жила на западе от внут-ригерманской границы, а именно в Любеке. Особняк из клинкерного кирпича по адресу Себастьян-Бахштрассе № 14, построенный супругами незадолго до убийства, был вскоре после войны национализирован. Я видел фотографию этой типичной солидной виллы, рассчитанной на одну семью, в Интернете. Мой сын додумался на своем сайте до требования вернуть несправедливо отнятое здание, чтобы устроить там «Музей Густлоффа», доступный для заинтересованной публики. Дескать, потребность в профессионально подобранных экспонатах и материалах простирается далеко за пределы Шверина. Он, впрочем, не возражал против того, чтобы слева от балконного выступа и окна сохранилась бронзовая табличка, оповещавшая о том, что с сорок пятого по пятьдесят первый год в этом национализированном здании проживал первый премьер-министр Мекленбурга, некий Вильгельм Хёккер. Не возражает он, дескать, и против окончания надписи: «после разгрома гитлеровского фашизма». Мол, это такой же неоспоримый факт, как и убийство Мученика.

Мой сын весьма умело справлялся с размещением на своем сайте иллюстративного материала, таблиц и документов. Например, я обнаружил здесь изображение как фронтальной, так и тыльной стороны большого памятного камня, установленного на южном берегу Шверинского озера. Он приложил немало стараний, чтобы рядом с фотографией камня поместить плохо различимую и потому специально увеличенную надпись, высеченную на тыльной стороне камня. Три строки, расположенные друг под другом.

Жил во имя Движения.

Убит евреем.

Погиб за Германию.

Поскольку в средней строке имя убийцы не называлось, а тем самым злодейскими убийцами объявлялись по существу все евреи, то можно предположить – и позднее такое предположение получило развитие, – что Конни отказался от односторонней фиксации на конкретной личности Давида Франкфуртера, решив продемонстрировать свою ненависть к «еврею как таковому».

Однако ни подобное объяснение, ни поиски других мотивов не смогли пролить достаточно света на событие, произошедшее 20 апреля 1997 года. Перед закрытой в эту пору

молодежной турбазой, имевшей довольно запущенный вид, разыгралось нечто, чего нельзя было предвидеть, однако для такого финала замшелый фундамент бывшего Мемориала героев оказался более чем подходящей сценической площадкой.

Что подвигло виртуального Давида покинуть далекий Карлсруэ, где восемнадцатилетний гимназист, старший из троих сыновей, жил со своими родителями, чтобы во плоти отправиться на поезде в Шверин, откликнувшись на невнятно высказанное приглашение? Что подтолкнуло Конни к тому, чтобы перенести возникшую в Сети по существу виртуальную дружбу-вражду в реальность, то есть устроить настоящую встречу? Приглашение на эту встречу было так искусно запрятано среди прочего коммуникационного сора, что расшифровать его мог только извечный оппонент Давид.

После того как молодежная турбаза была отвергнута в качестве места встречи, обе стороны сумели найти компромисс. Решено было встретиться там, где Мученик родился. Неплохой вопрос для телевикторины, ибо на сервере моего сына не указывались ни соответствующий город, ни улица, ни номер дома. Однако подобного намека знатоку вполне хватило, а Давид, как и Конни, именовавший себя в Сети Вильгельмом, знал треклятую историю Густлоффа вплоть до мельчайших деталей самого идиотского характера. Во время приезда Давида в Шверин выяснилась, например, его осведомленность даже насчет того, что гимназия, где Густлофф проучился несколько лет, после смерти была названа в его честь, а во времена ГДР она стала общеобразовательной средней школой и была переименована в «Школу мира». Мой сын признавал не только значительную осведомленность своего оппонента, но и восхищался им как «фанатом точности».

Итак, погожим весенним днем они встретились на Мартинштрассе у дома № 2, на углу Висмаршештрассе. С тем, что назначенная дата имела особое значение, Давид молча согласился. Встреча произошла перед фасадом дома, недавно отремонтированного, чтобы забыть о запустении, царившем здесь долгие годы. Известно, что они обменялись рукопожатием, при этом Давид, шагнув навстречу долговязому Конраду По-крифке, назвал себя Давидом Штремплином.

По предложению Конни в качестве первого пункта совместной программы состоялась прогулка по городу. При осмотре района Шельф-штадт гостю была показана как одна из достопримечательностей даже сохранившаяся на одном из задних дворов Лемштрассе кирпичная хибара, крытая толем, где мы ютились с матерью в послевоенные годы, а также частично обветшалые, частично уже отремонтированные фахверковые домики этого живописного квартала. Конни с такой уверенностью продемонстрировал Давиду все потайные уголки и места моих детских игр, будто речь шла о его собственном детстве.

После наружного и внутреннего осмотра церкви Санкт-Николаи настал, разумеется, черед Замка на Замковом острове. Экскурсия шла неспешно. Мой сын не подгонял гостя. Он даже предложил заглянуть в соседний музей, но предложение интереса не вызвало, Давид вдруг проявил нетерпение и захотел увидеть, наконец, территорию молодежной турбазы.

Тем не менее во время прогулки по городу они решили передохнуть. В итальянском кафе-мороженом каждый съел порцию мороженого. Конни гостеприимно расплатился за обоих. Давид Штремплин был также настроен вполне дружелюбно, не без некоторой иронии он рассказал о своих родителях, физике-атомщике и учительнице музыки. Готов спорить, что мой сын ни словом не обмолвился об отце и матери, зато наверняка счел важным хотя бы намеками поведать историю о том, как некогда спаслась его бабушка.

Затем разнорослые друзья-враги – Давид был пошире в плечах, но на голову ниже, – они отправились наконец через Замковый парк мимо Шлифовальной мельницы, прошли по Шлосгартеналлее, которая благодаря ослепительно белым виллам стала весьма дорогим кварталом, затем повернули на дорожку Бальдшульвег, ведущую к месту преступления – поляне, закрытой деревьями. Поначалу все складывалось вполне мирно. Давид Штремплин похвалил вид на озеро. Если бы на стоявшем перед молодежным комплексом столе для пинг-понга нашлись ракетки, то, возможно, Конни и Давид сыграли бы партию; оба страстно увлекались настольным теннисом, поэтому вряд ли упустили бы представившийся случай.

Может, перекинулись бы шариком через сетку, и события этого дня развернулись бы совсем иначе.

И вот перед ними, так сказать, кусок истории. Но даже замшелые обломки гранита и фрагмент валуна с высеченной руной и остатками имени еще не послужили поводом для столкновения. Они даже рассмеялись в два голоса над белкой, скакавшей от одного бука к другому. Лишь когда они встали на фундамент бывшего Мемориала героев и мой сын принялся объяснять гостю, где стоял большой памятный камень – позади здания турбазы, которого тогда не было, лишь тогда, когда он обрисовал жестом расположение камня, а потом сказал, где на его лицевой части находилось имя Мученика, и продекламировал все три строки, которые были высечены на тыльной стороне, Давид Штремплин якобы произнес «Мне как еврею приходит здесь в голову только вот что», после чего он трижды плюнул на замшелый фундамент, то есть на место поминовения, которое, по словам моего сына, сказанным позднее, было этим «осквернено».

Сразу же раздались выстрелы. Несмотря на солнечную погоду, Конни был в просторной теплой куртке с откинутым капюшоном. Вытащив из кармана ствол, он выстрелил четыре раза. Это был пистолет российского производства. Первый выстрел пришелся в живот, остальные в голову, в шею и опять в голову. Давид беззвучно рухнул на спину. Позже моему сыну было важно уточнить, что он попал столько же раз, сколько в свое время это сделал еврей Франкфуртер в Давосе, вот только стрелял в отличие от того не из револьвера. Подобно Франкфуртеру, он сам сообщил о происшествии из ближайшей телефонной будки, набрав номер экстренного вызова но. Не возвращаясь на место преступления, он направился в соседний полицейский участок, где добровольно сдался со словами: «Я стрелял, потому что являюсь немцем».

По дороге туда навстречу ему пронеслась полицейская патрульная машина и «скорая помощь», обе с синими мигалками. Только помощь для Давида Штремплина уже опоздала.

8

Он, претендующий на то, что досконально знает меня, утверждает, будто я не знаю моей собственной крови и плоти. Возможно, доступ в его самые потаенные узилища мне и впрямь закрыт. Или мне самому не хватило проницательности, чтобы разгадать тайны собственного сына? Лишь начавшийся судебный процесс сделал мне сына ближе, пусть не настолько, чтобы прикоснуться к нему, но хотя бы настолько, чтобы по-настоящему расслышать его, не рискуя, однако, воспользоваться этой близостью для выкриков с места, куда вызывают свидетелей, для ободряющих слов, вроде «Отец с тобой, сынок!» или «Не надо долгих речей, объясняйся покороче!»

Вероятно, поэтому Старик настойчиво твердит о моем «запоздалом отцовстве». Все, до чего я дохожу по траектории краба, в чем я довольно искренне исповедуюсь или в чем, словно по принуждению, признаюсь, совершается, по его мнению, «задним числом и из-за угрызений нечистой совести».

И вот теперь, когда все мои усилия действительно можно перечеркнуть резолюцией «Слишком поздно!», он принялся копаться в собранных материалах, огромной кипе записок, пытаясь выяснить, что произошло с материнской лисой. Эта лиса показалась ему, моему Заказчику, вдруг чрезвычайно выразительной деталью: я, видите ли, должен не держать про себя кучу разрозненных заметок, а раскопать в них и связно изложить историю сей украшавшей Туллу лисы, хотя лично мне подобный предмет туалета глубоко ненавистен.

Все верно. У матери с давних времен имеется лиса, которую она носит до сих пор. Ей было лет шестнадцать, когда она, трамвайная кондукторша в пилотке и с блоком отрывных билетов, ездившая по маршрутам № 5 и № 2, получила на остановке Хохштрис этот уже обработанный скорняком целехонький лисий мех в подарок от одного старшего ефрейтора, которого дополнительно приходится также занести в список моих потенциальных отцов. «Он прибыл в Оливу с Северного фронта, получил отпуск по ранению» – вот и все,

что было и остается известным о моем возможном родителе, поскольку ни упоминавшемуся выше Харри Либенау, ни какому-либо другому недорослю из вспомогательных частей ВВС никогда не пришлось бы в голову подарить матери лисий мех.

Этот теплый мех был у нее на плечах, когда семейство Покрифке поднялось на борт «Густлоффа». Мех грел ее и тогда, когда лайнер отчалил от берега, а беременная Тулла, которую поддерживал молоденький матрос-новобранец, отважилась шаг за шагом одолеть обледенелую солнечную палубу. Лиса лежала у нее под рукой рядом со спасательным жилетом и в родильном отделении, когда доктор Рихтер сделал Тулле укол, чтобы приостановить начавшиеся схватки после попадания третьей торпеды. А потом у нее и вовсе ничего не сохранилось, даже рюкзак потерялся, остались только спасательный жилет да лиса, обмотанная вокруг шеи, когда мать, еще не ставшая таковой, спустилась в шлюпку, причем лису она намотала на себя даже до того, как надела спасательный жилет.

Так, без обуви, но зато с лисой на плечах, она оказалась на миноносце «Лёве». И лишь во время начавшихся родов, то есть в ту минуту, когда «Густлофф» пошел носом ко дну, а потом завалился на бок и вопль десяти тысяч человек смешался с моим первым криком, свернутая лиса лежала рядом с матерью. Но потом, когда мать, ставшая в одночасье беловолосой, с младенцем на руках, покинув миноносец, сошла в Кольберге на берег, она хоть и была в чулках, но шею ее по-прежнему петлей захлестывала лиса, которую не смог бы выбелить никакой шок.

По уверениям матери, в долгие дни бегства от русских она закутывала меня лисой, чтобы спасти от жуткого мороза. Без этой лисы я наверняка замерз бы в толпе беженцев, застрявшей перед мостом через Одер. Только лисьему меху – да еще избытку молока у участливых женщин – я обязан, дескать, жизнью. «Без лисы быть бы тебе ледышкой...» А старший ефрейтор, подаривший ей лису, выделанную якобы варшавским скорняком, сказал матери на прощанье: «Кто знает, девочка, на что она тебе пригодится».

В мирные же времена, когда мерзнуть нам уже не приходилось, рыжий лисий мех принадлежал исключительно ей и хранился в шкафу уложенным в картонку из-под обуви. Надевала она его при каждом подходящем, а то и при совсем неподходящем случае. Например, при получении диплома мастера или при вручении почетного знака «Заслуженный активист» и даже просто на коллективных вечерах отдыха, которые устраивались мебельным комбинатом. Когда же рабоче-крестьянское государство мне осточертело и я решил удрать на Запад через Восточный Берлин, она надела лису, провожая меня на вокзал. Потом минула целая маленькая вечность, граница перестала существовать, мать вышла на пенсию, и на первую же общегерманскую встречу уцелевших после катастрофы «Густлоффа», состоявшуюся на морском курорте Дамп, мать приехала все с тем же лисьим мехом, который подлежал бережному и постоянному уходу; это весьма выделяло ее на фоне пожилых ровесниц, разряженных по последней моде.

Явившись в первый день судебного процесса на открытие, в ходе которого было лишь зачитано обвинение, а мой сын безусловно признал свое преступление, хотя ни в чем не намеревался раскаиваться («Я сделал лишь то, что должен был сделать!»), и демонстративно заняв место не там, где Габи и я поневоле оказались вместе, а рядом с родителями убитого четырьмя выстрелами Давида, мать, разумеется, вновь пришла с лисой, захлестнувшей петлей ее шею. Остроносая лисья морда впиалась в основание хвоста, поэтому очень похожие на настоящие стеклянные глаза, один из которых потерялся во время вынужденных скитаний и позднее был заменен, оказались расположенными наискось по отношению к серым материнским глазам, так что на скамью подсудимых или на судейские кресла постоянно вперялся двойной взгляд.

Я всегда испытывал неловкость, когда она наряжалась столь старомодно, тем более что лисий мех благоухал не «Тоской», любимыми духами матери, а в любой сезон источал резкий запах нафталиновых шариков, да и выглядела лиса все-таки уже довольно потертой. На второй день судебного процесса мать вызвали в качестве свидетеля защиты, она вышла к стойке и тут произвела впечатление даже на меня: поджарая, словно сидящая на диете дива, с

рыжей лисой, контрастирующей с ее белыми волосами, она предварила свои первые ответы словами «Клянусь говорить...», хотя ее вовсе не собирались приводить к присяге, после чего она без видимого волнения сообщила все, что имела сказать, прибегнув, правда, к несколько выпрещенному слогу.

В отличие от Габи и меня, воспользовавшихся правом не давать никаких показаний, мать проявила откровенность. Обращаясь к суду, который состоял из трех судей, то есть одного председателя и двух заседателей, а также из двух шеффенов³⁰ по делам несовершеннолетних, она говорила так, будто ожидала чуда. Когда прокурор по делам несовершеннолетних начал задавать ей вопросы, все прислушались: «Да, это ужасное событие болью отозвалось и в моем сердце. Ощущение такое, будто сердце рассечено огненным мечом. Или разбито огромным кулаком».

На процессе в большой палате по делам несовершеннолетних, который состоялся в шверинском земельном суде на Дремлерплац, мать выглядела душевно сломленной. Прокляв судьбу, она стала разбираться с правыми и виноватыми, разругала обоих родителей за неспособность к любви, зато с похвалой отозвалась о своем внуке, которого сбили с толку злые силы и эта дьявольская штуковина, компьютер, ибо сам по себе внук всегда был прилежен и вежлив, более чем опрятен, неизменно отличался готовностью помочь и пунктуальностью, которая сказывалась отнюдь не только в том, чтобы вовремя явиться к ужину. Она сказала, что с тех пор как внук начал навещать ее, а потом и жить у нее – а эта радость выпала ей, когда ему исполнилось пятнадцать, – она и сама привыкла планировать распорядок дня с точностью до минуты. Да, она признает: компьютер и всяческие принадлежности к нему были, к сожалению, ее подарком. Но не потому, что бабушка слишком уж баловала внука, совсем наоборот. Поскольку он всегда бывал очень скромнен и неприхотлив, она с удовольствием исполнила его желание иметь эту новомодную штуковину. «Ведь он никогда ни о чем не просил!» – воскликнула она и заметила: «Мой Конрадхен часами возился с компьютером».

Покончив с проклятиями в адрес новомодных соблазнов, она вернулась к своей всегдашней теме. К кораблю, судьба которого до сих пор никого не волновала, а вот внук не уставал расспрашивать ее об этом. Правда, Конрадхен не только интересовался «гибелью замечательного лайнера СЧР, заполненного женщинами и детками», и не только расспрашивал об этом свою бабушку, уцелевшую в катастрофе, он затеял – не в последнюю очередь по ее желанию – большое дело, а именно принялся распространять по всему миру, вплоть до Австралии и Аляски, с помощью подаренного компьютера то огромное количество свидетельств, «все мельчайшие подробности», которые он насобирает. «Ведь это ж не запрещено, господин судья, а?» – воскликнула она и поправила лисью голову, сдвинув ее на середину.

Об убитом она лишь вскользь заметила, что ее Конрадхен познакомился с ним «через компьютер»; лично он этого мальчика не знал, однако подружился с ним, хотя оба частенько спорили; она же радовалась этой дружбе, потому что внучок ее всюду слыл нелюдимым и одиночкой. Такой уж он уродился. Даже его отношения с девочкой из Ратцебурга, которая «работает помощницей у зубного врача», были довольно деликатными, «во всяком случае никакого секса там не было», это уж ей доподлинно известно.

Это и многое другое сказала мать в качестве свидетельницы защиты, выступая сдержанно и стараясь говорить на вполне литературном немецком языке. Суд услышал от нее, что Конрад «был очень щепетилен во всех вопросах, которые касались совести», что он «отличался непреклонной приверженностью истине», а также «несокрушимой гордостью за Германию». По словам матери, она довольно безразлично относилась к тому, что компьютерный приятель Конрада был евреем; однако когда прокурор по делам несовершеннолетних тут же заметил, что согласно давно известным и приобщенным к делу документам родители убитого еврейями не являлись, так как его отец, господин Штремплин,

родился в семье вюртембергского пастора, а его супруга принадлежит к насчитывающему множество поколений роду баденских крестьян, мать заметно разволновалась. Она принялась теревить лисий мех, на несколько секунд ее взгляд принял отсутствующее выражение, после чего воскликнула: «Это ж надувательство! Мой Конрадхен ведь не ведал, что этот Давид окажется поддельным евреем. Ведь тот себе морочил голову и нас дурачил, при любой возможности выдавал себя за истинного еврея, вечно твердил о нашем позоре...»

После того как она назвала убитого лжецом и мошенником, председательствующий судья лишил ее слова. Конни, который до тех пор выслушивал лисьи уверенья матери с легкой улыбкой, не выразил ни испуга, ни разочарования, когда прокурор по делам несовершеннолетних предъявил, по его ироническому выражению, «справку об арийском происхождении» Вольфганга Штремплина, в Сети называвшего себя Давидом. Со спокойной уверенностью мой сын прокомментировал данное обстоятельство, известное ему и ранее, так: «Сути дела это не меняет. Мне самому надлежало принять решение, говорил ли и действовал ли человек, известный мне под именем Давид, как еврей или нет». На вопрос председателя, доводилось ли Конраду когда-либо, будь то в Мельне или в Шверине, встречать настоящего еврея, он с твердостью ответил отрицательно, но добавил: «Для моего решения это не имело значения. Я стрелял из принципа».

Затем речь зашла о пистолете, который после выстрелов был выброшен моим сыном в воду с высокого южного берега Шверинского озера и о котором ранее мать лишь коротко заметила: «Да как я могла его найти, господин прокурор? Ведь Конрадхен всегда сам убирал свою комнату. Считал это своей обязанностью».

На вопрос об оружии сын ответил, что пистолетом – ТТ калибра 7,62 с советских армейских складов – обзавелся уже полтора года назад. Это понадобилось из-за угроз, которым он подвергался со стороны молодых мекленбургских праворадикалов. Нет, никаких имен он назвать не собирался и не собирается. «Моих прежних соратников я не выдам!» Поводом для угроз послужило давнее выступление, сделанное по приглашению группы соратников национальной ориентации. Тема выступления – Судьба лайнера СЧР «Вильгельма Густлоффа». От стапелей до гибели, – видимо, показалась некоторым слушателям, «идиотам, которые к тому же находились под воздействием большого количества выпитого пива», слишком занудной. Особенно разозлила бритоголовых его объективная оценка весьма успешных с военной точки зрения действий командира советской подлодки, который нанес торпедный удар из очень рискованной позиции. Кое-кто из этих громил обзывал его потом «другом русских», не раз приставал к нему прямо на улице и даже нападал. «Тогда мне стало ясно, что при встречах с этими примитивными нацистами нельзя оставаться безоружным. Разговоры тут бесполезны».

Это выступление, которое состоялось выходным днем в начале 1996 года в шверинской пивной, где собиралась вышеупомянутая группа, а также два других выступления, которые не были разрешены, однако имелись у суда в письменном виде, сыграли для дальнейшего хода судебного процесса особую роль.

Что касается одного из неразрешенных выступлений, то тут мы оба дали маху. Габи и я обязаны были знать, что, собственно, творится в Мельне. Однако мы оставались слепыми. Ей, как учительнице, пусть в другой школе, наверняка стало известно, что сыну не позволили сделать доклад на рискованную тему, аргументировав это «вредной тенденциозностью»; да, признаться, и мне следовало побольше интересоваться собственным сыном.

Например, хотя по профессиональным причинам мои визиты в Мельн стали нерегулярными, однако их можно было бы спланировать так, чтобы задать кое-какие вопросы на родительском собрании, даже если бы разгорелся спор с каким-либо тамошним узколобым педагогом. Мог бы спросить: «В чем смысл такого запрета? Где же ваша терпимость?» или что-нибудь в этом роде. Пожалуй, доклад Конрада, озаглавленный Положительные аспекты в деятельности национал-социалистической организации «Сила через радость», несколько оживил бы скучные уроки обществоведения. Но я родительских собраний не посещал, а Габи

оправдывалась нежеланием осложнять и без того непростую ситуацию своих коллег-учителей субъективными материнскими протестами, тем более что она сама «решительно возражала против любой недооценки коричневой псевдоидеологии» и всегда отстаивала перед сыном свои левые взгляды, хотя, правда, и не проявляла должного терпения.

Ничто нас не оправдывает. Нельзя все спихивать на мать и косность школьных учителей. Пока шел судебный процесс, моей бывшей супруге и мне – она, впрочем, нередко ссылалась на ограниченные возможности педагогики – пришлось признать, что мы допустили серьезную ошибку. Ах, лучше бы мне, безотцовщине, вообще не становиться отцом!

Таковыми же упреками в собственный адрес терзались и родители несчастного Давида, настоящее имя которого было Вольфганг и который явно провоцировал нашего Конни своим юдофильством. В перерыве между судебными заседаниями Габи и я завели с приехавшими на процесс родителями поначалу несколько скованный, потом все более откровенный разговор, и господин Штремплин сказал мне, что, видимо, его сугубо научные интересы, связанные с работой в ядерном исследовательском центре, а также известная индифферентность при оценке исторических событий привели к отчуждению в отношениях с сыном, а затем и к утрате контакта с ним. Особенно претил сыну довольно сдержанный подход к периоду национал-социализма. «А в результате отчуждение между нами все больше возрастало».

По словам госпожи Штремплин, Вольфганг всегда был эксцентричен. Правда, настольный теннис помогал ему найти контакт со сверстниками. О каких-либо более серьезных отношениях, например о наличии девушки, ей ничего не известно. Довольно рано, лет с четырнадцати, он решил называться Давидом, а чрезмерное внимание к проблеме военных преступлений и массовых убийств, о которой, видит Бог, говорено уже предостаточно, настолько заиклило его на мыслях о покаянии, что все, связанное с евреями, стало казаться ему чуть ли не святыней. К последнему Рождеству он, как ни странно, захотел себе в подарок семисвечник. Было весьма нелепо видеть его сидящим перед компьютером, который заменял ему едва ли не все на свете, в ермолке, какие носят ортодоксальные евреи. «Он постоянно требовал, чтобы я готовила ему кошерную еду». Во всяком случае, только так она может объяснить то обстоятельство, что для своих компьютерных игр он взял себе имя Давид и утверждал, будто исповедует иудаизм. Она не раз говорила ему, что пора покончить с вечными огульными обвинениями, но он пропускал все это мимо ушей. «В последнее время к мальчику вообще нельзя было подступиться». Поэтому для нее остается загадкой, почему сыну пришла в голову идея заняться этим ужасным партийным функционером и убившим его студентом-медиком по фамилии Франкфуртер. «Может, мы слишком рано отказались от педагогического воздействия на сына?»

Госпожа Штремплин умолкала и принималась говорить опять. Ее муж согласно кивал головой. Постоянные разговоры о Давиде и Голиафе были, конечно, вздором, но сам сын относился к ним всерьез. Младшие братья Йобст и Тобиас часто подтрунивали над ним из-за этой темы, ставшей для него поистине культом. На столе Вольфганга даже стояла в рамке фотография того студента, который был совсем молодым человеком, когда произошло убийство в Давосе. Вольфганг собрал также множество книг, газетных вырезок, компьютерных распечаток. Все это было связано с Густлоффом и кораблем, названным в его честь. «Катастрофа, конечно, ужасная», – сказала госпожа Штремплин, – погибло столько детей. И ведь ничего про это не было известно. Даже моему мужу, хотя он любитель новейшей немецкой истории. Но он, к сожалению, тоже ничего не слышал о Густлоффе до тех пор, пока...»

Она зарыдала. Габи тоже заплакала и, чувствуя свою беспомощность, положила руку на плечо госпожи Штремплин. Да и я готов был расплакаться, но отцы лишь обменялись взглядами, которые должны были выразить взаимопонимание. Потом мы еще несколько раз общались с родителями Вольфганга, и не только в здании суда. Люди либеральных взглядов,

они винили в произошедшем скорее себя, нежели нас. Неизменно старались понять причину. Мне показалось, что во время процесса они очень внимательно прислушивались к Конни, который бывал весьма многословен, будто надеялись услышать от него, убийцы их сына, нечто такое, что могло послужить ключом к разгадке.

Чета Штремплинов показалась мне довольно симпатичной. Ему было около пятидесяти. В очках и с ухоженными седыми волосами, он являл собою тип интеллектуала, для которого все относительно, даже установленные факты. Ей было лет сорок пять, но выглядела она моложе и отличалась, пожалуй, склонностью считать любые вещи в той или иной мере необъяснимыми. Когда зашла речь о матери, она сказала: «Бабушка вашего сына личность, конечно, незаурядная, я ее как-то побаиваюсь, потому что не понимаю...»

По ее словам, характер у младших братьев Вольфганга совершенно иной. А еще она с беспокойством говорила о том, что старший сын слабоват в математике и физике, будто Вольфганг оставался для нее «все еще» живым и ему вскоре предстоит экзамены на аттестат зрелости.

Мы сидели в одном из новых кафе на вертящихся табуретах вокруг слишком высокого стола. Не сговариваясь, все заказали «капучино». Печенья никто не попросил. Иногда мы уклонялись от темы, например когда нам показалось, что придется иначе признаться Штремплинам, которые были примерно нашими ровесниками, в причинах раннего распада нашего брака. Габи лишь коротко заметила, что сегодня развод, если он становится необходимым, является делом вполне нормальным и винить тут никого не следует. Я промолчал, уступив бывшей супруге подобные полуобъяснения, после чего сменил тему и не слишком ловко завел разговор о несостоявшихся выступлениях в школах Мёльна и Шверина. Тут же между мной и Габи произошла перепалка, как это бывало в давние времена. Я утверждал, что беда нашего сына – со всеми ее ужасными последствиями – началась с того, что ему запретили изложить его собственный взгляд на события 30 января тридцать третьего года, а также на социальную значимость национал-социалистической организации «Сила через радость», однако Габи перебила меня: «Ведь ясно же, что учитель в таких случаях должен сказать „нет“. В конце концов, эта дата связана с захватом власти Гитлером и лишь случайно совпадает с днем рождения некой личности, о значении которой собирался распространяться наш сын, касаясь еще одной своей темы „Пренебрежение к памятникам истории...“

Судебный процесс продолжился: вызванные в качестве свидетелей два учителя, сказавшие о хорошей и даже отличной успеваемости обвиняемого, отвечали на вопросы о докладах, которые не состоялись в Мёльне и Шверине. Оба учителя единодушно – в данном случае вполне можно было говорить об общегерманском единстве – заявили, что тексты предполагавшихся и не разрешенных выступлений были проникнуты национал-социалистической идеологией, которая преподносилась, однако, весьма интеллигентным и хитроумным образом, например с помощью пропаганды так называемой «бесклассовой народной общности», а также посредством ловко сформулированного требования «обеспечить свободную от идеологии охрану исторических памятников», подразумевавшего восстановление Мемориала в честь бывшего нацистского функционера Густлоффа, которого в своем втором неразрешенном докладе ученик Конрад Покрифке намеревался представить «великим сыном города Шверин». Пропаганду столь опасного бреда пришлось запретить из педагогических соображений, потворство было бы безответственным, тем более что в обеих школах растет число учеников и учениц со склонностью к правому экстремизму. Восточногерманский педагог подчеркнул в конце «антифашистские традиции» своей школы; западногерманскому педагогу пришла в голову лишь довольно избитая фраза «Противодействуй в начале!»³¹.

В целом допрос свидетелей носил непредвзятый и спокойный характер, если не считать эмоциональных всплесков со стороны матери, а также выступления свидетельницы Розы,

которая со слезами твердила, что всегда будет хранить верность своему «соратнику Конраду Покрифке». Заседания судебной палаты по делам несовершеннолетних являются закрытыми, поэтому любое заявление, рассчитанное на публику, осталось бы без соответствующего резонанса. Наконец председатель суда, который иногда позволял себе легкие шутки, будто хотел разрядить смертельно серьезную атмосферу процесса, предоставил моему сыну слово для изложения мотивов совершенного преступления, чем Конни, истомившийся ожиданием возможности высказаться, поспешил воспользоваться в полной мере.

Начал он, конечно, от Адама и Евы, что в данном случае означало – от рождения будущего ландесгруппенляйтера НСДАП. Подчеркнув его организационные достижения в Швейцарии и охарактеризовав излечение легочного заболевания как «победу силы над слабостью», он постарался создать достоверный портрет героя. Наконец-то для него нашелся повод воздать должное «великому сыну Шверина». Если бы в зале присутствовала публика, с задних рядов, вероятно, раздался бы одобрительный шум.

Когда черед дошел до подготовки и осуществления убийства в Давосе, Конрад, переставший заглядывать в записи и листочки с цитатами, особо отметил легальное приобретение оружия и количество произведенных выстрелов: «Я, как и Давид Франкфуртер, попал четыре раза». Постаравшись провести параллель со словами Давида Франкфуртера, который сказал суду кантона Кур, что стрелял, потому что является евреем, мой сын повторил это заявление, несколько переиначив и расширив его: «Я стрелял, потому что являюсь немцем и потому что в Давиде говорил Вечный жид³²».

Не задерживаясь на процессе в суде кантона Кур, он, однако, заметил, что в отличие от профессора Гримма и партийного оратора Диверге не разделяет мнение о еврейских подстрекателях, которые якобы стояли за Франкфуртером. Справедливости ради необходимо признать: как и он сам, Франкфуртер руководствовался «исключительно внутренними побуждениями».

После этого Конрад живописал государственную траурную церемонию, состоявшуюся в Шверине, сообщил о погодных условиях того дня, «легкий снегопад», не забыл перечислить названия улиц, по которым проходила траурная процессия. Затем, когда даже терпеливым судьям надоел занудный трактат о целях, задачах и успехах национал-социалистической организации «Сила через радость», Конрад перешел наконец к закладке лайнера на стапеле.

Эта часть показаний доставляла моему сыну явное удовольствие. Оживленно жестикулируя, он сообщил данные о длине, ширине и осадке лайнера. При рассказе о спуске корабля на воду и его торжественных крестинах, совершенных, по выражению сына, «вдовой Мученика», он счел уместным воскликнуть с обвинительной интонацией: «Здесь, в Шверине, имущество госпожи Хедвиг Густлофф после падения Великого германского Рейха было противоправно национализировано, а саму ее позднее изгнали из города!»

Затем он принялся описывать устройство лайнера. Дал подробные характеристики салонам и столовым, указал точное количество кают, рассказал о бассейне на нижней палубе. Подводя итог, он отчеканил: «Бесклассовый лайнер „Вильгельм Густлофф“ был и остается живым свидетельством национального социализма, он служит образцом для подражания в наши дни и на все времена!»

На последних словах мне почудилось, будто мой сын ждет аплодисментов от воображаемой публики; но в то же время он заметил и адресованный ему взгляд судьи, призывавший его к сдержанности и краткости. Относительно быстро, как сказал бы, вероятно, господин Штремплин, он дошел до последнего плавания лайнера и до торпедной атаки. Он назвал ужасающие цифры утонувших и замерзших людей, ставших жертвами этой катастрофы, «лишь грубыми оценками», после чего сопоставил их с гораздо меньшим количеством жертв при других крупных морских катастрофах. Он назвал также число спасенных людей, с благодарностью отметив роль капитанов, участвовавших в спасательной операции; обо мне, своем отце, он не сказал ни слова, зато упомянул свою бабушку: «В зале

находится семидесятилетняя госпожа Урсула Покрифке, ради этой женщины я и свидетельствую здесь», после чего мать, беловолосая, с рыжей лисою на плечах, поднялась с места и встала в позу. Она тоже вела себя так, будто выступала перед публикой.

Словно желая заглушить слышимые только ему одному аплодисменты, Конни заговорил подчеркнуто сухо, он с одобрением отозвался о «добросовестной скрупулезной работе» Хайнца Шёна, бывшего помощником казначея на лайнере, и с сожалением отметил, что в послевоенные годы продолжалось разорение затонувшего «Вильгельма Густлоффа» различными водолазами, охотниками за сокровищами: «Однако, по счастью, этим варварам не удалось обнаружить ни золота Имперского банка, ни легендарной Янтарной комнаты...»

В этом месте весьма терпеливый председатель суда, как мне показалось, одобрительно кивнул, однако тут же речь моего сына, словно по инерции, пошла дальше. Теперь он обратился к командиру советской подлодки С-13. Александра Маринеско после многих лет сибирских лагерей Наконец реабилитировали. «Но, к сожалению, радость его была недолгой. Вскоре он умер от рака...» Позднее он все-таки был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ни слова обвинений в его адрес. Ни намек на то, что говорилось ранее в Сети о «русских нелюдах». Сын даже удивил судей и заседателей суда по делам несовершеннолетних, а также прокурора тем, что попросил прощения у своей жертвы – Вольфганга Штремплина, именовавшего себя Давидом. Мол, слишком долго сам он расценивал на своем сервере уничтожение «Вильгельма Густлоффа» исключительно как убийство женщин и детей. Но Давид помог ему понять, что командир подлодки С-13 с полным правом счел безымянный для него корабль военным объектом. «Уж если говорить здесь о чьей-то вине, – воскликнул он, – то следует предъявить обвинение главному командованию военно-морского флота и гросс-адмиралу лично. Именно он несет ответственность за то, что на борту лайнера наряду с беженцами оказалось большое количество военного персонала. Имя преступника – Дёниц!»

Конрад выдержал паузу, словно пережидая волнение в зале и прислушиваясь к выкрикам с мест. Но, возможно, он всего лишь подбирал заключительные слова. Наконец он сказал: «Я не отрекаюсь от содеянного. Однако я прошу Высокий суд рассматривать осуществленную мною смертную казнь как нечто такое, что может быть понято только в более широком контексте. Я знаю – Вольфгангу Штремплину вскоре предстояли экзамены на аттестат зрелости. Мне очень жаль, что я не мог принять это во внимание. Речь шла и идет о большем. Шверин, столица федеральной земли, должен наконец воздать должное своему великому сыну. Я призываю воздвигнуть на южном берегу озера, там, где я по-своему почтил память Мученика, мемориал, который сохранил бы для будущих поколений напоминание о Вильгельме Густлоффе, который был злодейски убит евреем. Несколько лет назад в Санкт-Петербурге появился наконец памятник командиру-подводнику Александру Маринеско, поэтому и здесь настала пора воздать почести человеку, который отдал 4 февраля 1939 года свою жизнь ради того, чтобы Германия в конце концов смогла освободиться от еврейского ига. Я готов признать, что и у еврейской стороны есть основания, чтобы либо в Израиле, где Давид Франкфуртер умер в восемьдесят втором году, либо в Давосе был установлен монумент в честь того студента-медика, который четырьмя меткими выстрелами намеревался дать символический знак своему народу. Ладно, пусть это будет даже бронзовая табличка».

Тут председательствующий судья не выдержал: «Хватит, довольно!» В зале стало тихо. Заявления моего сына, а точнее его словоизлияния, не остались неслышанными; впрочем, ни смягчить приговора, ни ужесточить его они не могли, поскольку суд усмотрел в потоке красноречия, которым разразился сын, своего рода безумие, хотя по-своему достаточно логичное; теперь дело было за экспертами, которым надлежало это проанализировать и дать более или менее убедительные заключения.

Вообще-то я придерживаюсь не слишком высокого мнения о подобной наукообразной писанине. Но, пожалуй, один из экспертов, указавший в качестве психолога на неблагополучную обстановку в семье, был не так уж далек от истины, когда, охарактеризовав

поступок Конни как «выходку отчаявшегося одиночки», объяснил его тем, что обвиняемый рос практически без отца, а первопричиной этого счел мою безотцовщину, что явно было притянуто за волосы. Оба других экспертных заключения пошли по той же наезженной колее. Сплошь охота по семейным заповедникам. В конце концов виноватым всегда оказывался отец. А ведь право на воспитание ребенка оставалось закрепленным исключительно за Габи, которая не сумела воспрепятствовать переезду своего сына из Мельна в Шверин, где он окончательно попал в силки матери.

Она, только она во всем виновата. Эта ведьма с лисой на плечах. Она вечно сбивала с толку, это известно каждому, кто знает ее с давних лет и у кого с ней наверняка что-то было. Ведь как только он начинает говорить о Тулле... Начинаются фантазии... Мистика... Вспоминаются кашубские и кошнадерские легенды... Имя связано якобы с кошнадерским водяным духом Туля, Дуллер или Тул.

Склонив голову набок, так что взгляд ее серых глаз повторил положение лисих стекляшек, мать внимательно следила за речами экспертов. Сидела неподвижно и слушала, как мой крах в роли отца становится лейтмотивом бумажного шелеста зачитываемых страниц, и похоже, эта музыка пришлась ей по вкусу. Сама она оказалась затронута в экспертных заключениях только мимоходом. Отмечалось лишь следующее: «Сердечная забота, проявленная бабушкой, не смогла заменить трудному подростку отца и мать. Вместе с тем можно предположить, что тяжелая судьба бабушки, катастрофа, пережитая ею на последних сроках беременности, а также роды в момент гибели корабля, с одной стороны, произвели на ее внука Конрада Покрифке сильное эмоциональное воздействие, а с другой стороны, интенсивное сопереживание при наличии развитого воображения оказали дестабилизирующее влияние на психику...»

Защитник постарался развить тот мотив, к которому склонялись все эксперты. Примерно мой ровесник, этот адвокат, которого наняла моя жена, проявлял немалые старания, однако ему не удалось завоевать доверие Конрада. Каждый раз, когда он говорил о «спонтанном и непредумышленном деянии» и пытался найти смягчающие обстоятельства, мой сын сводил все его усилия на нет добровольными признательными показаниями: «Нет, я не торопился и был вполне спокоен. Чувства ненависти не испытывал. Все мысли носили практический характер. К сожалению, первый выстрел пришелся в живот, слишком низко, поэтому следующие три выстрела сделал более прицельно. Жаль, что у меня был пистолет. Мне бы хотелось иметь револьвер, чтобы все было как у Франкфуртера».

Конни брал на себя всю ответственность за свой поступок. Долговязый, кудрявый, в очках, он выступал в суде как обвинитель, только обвинял самого себя. Он выглядел моложе своих семнадцати, но говорил словно человек, умудренный опытом, будто жизненный опыт можно набрать где-то на курсах ускоренного обучения. Например, он отверг утверждение о том, что часть его вины ложится на родителей. С немного снисходительной улыбкой он сказал: «Мать у меня вполне в порядке, хотя часто действовала мне на нервы своими постоянными разглагольствованиями насчет Аушвица. А об отце суд и вовсе может позабыть, как это сделал я сам несколько лет назад, просто забыть».

Может, сын меня ненавидел? Но способен ли он вообще ненавидеть? Свою ненависть к евреям он не раз отрицал. Я склонен полагать, что ненависть Конни носит рациональный характер. Ненависть, подогреваемая постоянно. Рассчитанная надолго. Бесстрастная, самовоспроизводящаяся.

Возможно, защитник не так уж и ошибался, когда объяснял, что превращение Густлоффа под влиянием бабки в идею фикс стало для Конрада своего рода компенсацией отсутствующего отца. Защитник напомнил, что брак четы Густлоффов был бездетным. Конрад Покрифке, переживая стадию духовного поиска, попытался заполнить открывшийся ему пробел. Наконец, современные средства коммуникации, вроде Интернета, дают возможность неожиданного выхода из юношеского одиночества.

В пользу такого предположения свидетельствует тот факт, что, когда судья предоставил Конраду возможность отреагировать на данный момент судебных прений, он с большой

теплотой заговорил о Мученике. Он сказал: «Когда мои расследования показали, что Вильгельм Густлофф воспринял социальные идеи скорее от Георга Штрассера, нежели от Вождя, Густлофф сделался для меня образцом для подражания, о чем неоднократно и со всей определенностью сообщалось на моем сервере. Мои внутренние установки сформировались под его воздействием. Отомстить за него я считал для себя священным долгом!»

Вслед за этими словами прокурор по делам несовершеннолетних стал настойчиво выяснять у Конрада причины его презрительного отношения к евреям, на что тот ответил: «Тут вы сильно заблуждаетесь. В принципе я ничего не имею против евреев. Однако, как и Вильгельм Густлофф, я считаю, что евреи остаются чужеродным элементом среди арийских народов. Пускай едут в Израиль, их место там. Здесь они нестерпимы, там же они крайне нужны, чтобы сражаться с враждебным окружением. Давид Франкфуртер избрал совершенно верное решение, когда сразу после выхода из тюрьмы отправился в Палестину. И было абсолютно правильно, что позднее он пошел в израильское министерство обороны».

В ходе судебного процесса у меня не раз возникало ощущение, что среди всех выступавших только мой сын был до конца откровенен. Он сразу же переходил к делу, не терял нити рассуждений, на все имел конкретный ответ и давал четкое объяснение своему поступку, в то время как вся троица экспертов, председатель суда, остальные судьи и шеффены терялись в поисках мотивов, обращаясь за помощью к различным авторитетам, от Бога до Фрейда. Они постоянно стремились представить, как выразился адвокат, «бедного мальчика» жертвой то современного общества, то распавшейся семьи, то узости педагогических программ, то распространившегося безбожия, а моя бывшая супруга даже осмелилась в конце концов сделать утверждение, что «во всем виноваты гены, унаследованные Конрадом от бабки».

О подлинной жертве трагического события, об убитом накануне экзаменов на аттестат зрелости Вольфганге Штремпелине, представшем в Сети в образе еврея Давида, речь на суде почти не заходила. О нем как бы стыдливо умалчивали либо упоминали только в качестве объекта преступления. Защитник даже счел возможным указать, что предъявление ложных данных сыграло провоцирующую роль. Хотя заключение «сам виноват» осталось невысказанным, однако оно вполне явственно слышалось во фразах «Жертва буквально подставляла себя» или «Было крайне опрометчиво переносить споры из Интернета в реальность».

Во всяком случае, преступнику досталась более значительная порция сочувствия. Возможно, поэтому супруги Штремпелины уехали еще до оглашения приговора. Однако перед отъездом мы вновь встретились в кафе по соседству со зданием суда, и они заверили Габи и меня, что не настаивают на суровом наказании для нашего сына, так как этого наверняка не захотел бы и Вольфганг. «Мы далеки от какой-либо мстительности», – сказала госпожа Штремпелин.

Если бы меня допустили на процесс в чисто профессиональном качестве, то есть в качестве журналиста, я, вероятно, разразился бы критикой по поводу «совершенно недостаточной меры наказания» или даже «судебного скандала»; однако в данном случае профессиональный долг можно было оставить в стороне и сосредоточиться на сыне, поэтому я ужаснулся, услышав приговор – семь лет заключения в исправительном заведении для несовершеннолетних, – который сам Конни выслушал с полной невозмутимостью. Потерянные годы. Если придется отсидеть полный срок, то на свободу он выйдет только в двадцать четыре года. Повседневное общение с преступниками и настоящими правыми экстремистами лишь ожесточит его, поэтому на свободе ему будет тяжело, возможны рецидивы и опять тюрьма. Нет! Такой приговор принять нельзя.

Однако Конни отказался от предложения адвоката добиться пересмотра дела с помощью кассации. Могу лишь повторить то, что он сказал Габи: «Просто трудно понять, что мне дали всего семь лет. Еврея Франкфуртера осудили в свое время на восемнадцать, правда, отсидел он только девять с половиной...»

Повидаться со мной, до того как его увезли, он не захотел. А в зале суда он обнялся не с матерью, а с бабушкой, которая едва доставала ему до груди. Перед уходом он обернулся; возможно, он искал Давида или его родителей, которых ему теперь не хватало.

Потом мы стояли Перед зданием суда по делам несовершеннолетних на Дремлерплац, я сумел наконец закурить, и тут мать впала в ярость. Она сбросила с себя лису, этот аксессуар для парадных выходов, а вместе с нею и литературный стиль выражений: «Нету справедливости!» В гневе она вырвала сигарету у меня изо рта, растоптала ее, будто сигарета служила символом чего-то, что подлежит немедленному уничтожению, закричала, потом запричитала: «Сволочи! Нету больше справедливости! Меня надо было сажать, а не мальчика. Это же я подарила ему сначала компьютер, а потом и пистолет на прошлую Пасху. Ведь лысые ему угрожали. До крови избивали. А он пришел домой, и ни слезинки. Пистолет-то у меня давно в комодке лежал. Когда власть переменилась, так я его на русском рынке и купила. По дешевке. Только на суде меня никто не спросил, откуда пистолет взялся...»

9

Этот запрет был установлен им изначально. Мне ни в коем случае не позволялось фантазировать насчет того, что могло твориться в голове у Конни, какие мысли якобы посещали его, не разрешалось ссылаться на них, аргументировать ими, тем более цитировать в письменном виде.

Было сказано: «Никто не знает, о чем он думал и продолжает думать. Каждый лоб заперт наглухо, и не только у него. Это секретная зона. Ничейная земля для охотников до чужих тайн. Бесполезно пытаться проникнуть под черепную коробку. К тому же никто не говорит того, что он думает на самом деле. А если и говорит, то лжет с первых же слов. Любая фраза, которая начинается так: „В этот момент он подумал...“ или „В мыслях у него промелькнуло...“, – служит негодным приемом. Ничто не , хранит свои тайны так надежно, как голова. Никакая пытка не гарантирует абсолютно честных признаний. Лгать себе можно даже в минуту смерти. Поэтому нам не дано знать, о чем думал Вольфганг Штремплин, когда у него созрело решение взять на себя в Интернете роль Давида, или что именно происходило у него в голове перед зданием турбазы имени Курта Бюргера, когда его друг-противник, называвший себя в Сети Вольфгангом, а на самом деле бывший Конрадом Покрифке, вытащил из правого кармана куртки пистолет и после первого выстрела, пришедшегося в живот, трижды выстрелил в голову и поразил навсегда погребенные в ней мысли. Мы замечаем лишь то, что видим. На поверхности явлено немного, но достаточно. Не нужно размышлений, которые выдумываются задним числом. Итак, чем лаконичнее рассказ, тем скорее мы доберемся до конца».

Хорошо, что он не подозревает, какие мысли невольно лезут из моих правых и левых извилин, наполняются ужасным смыслом, выдают тщательно скрываемые тайны, разоблачают меня, пугая настолько, что я тут же стараюсь подумать о чем-нибудь другом. Например, о том, что бы принести с собой в Нойштрелиц, что бы такое выдумать для моего сына в качестве маленького подарка, который можно было бы передать ему при моем первом визите к нему.

Я заказал в службе вырезок сбор всех газетных материалов о судебном процессе, поэтому мне прислали напечатанную в «Бадише цайтунг» фотографию Вольфганга Штремплина. Приятное, но не особенно выразительное лицо. Выпускник школы, во всяком случае юноша призывного возраста. На губах улыбка, но глаза немного печальны. Темно-русые волосы чуть вьются, пробора нет. Молодой человек в рубашке с открытым воротом, голова слегка наклонена налево. Возможно, мечтатель, полный каких-то своих идей.

Кстати, комментарии судебного процесса над моим сыном оказались удручающе скудными даже по объему. К этому времени в обеих частях объединенной ныне Германии правые экстремисты совершили целый ряд преступлений, например, в Потсдаме они едва не забили до смерти венгра бейсбольными битами, а в Бохуме дело дошло до убийства

пенсионера. Снова и снова скинхеды повсеместно устраивали побоища. Насилие с политической подоплекой стало вполне бытовым явлением, таким же, как и призывы дать отпор правым или заявления политиков, выражающих свое сожаление по поводу подобных событий, но с оговорками, которые лишь подливали масла в огонь. А возможно, все дело было в том несомненном факте, что Вольфганг Штремплин не являлся евреем; это снизило интерес к судебному процессу, ибо сразу после убийства центральные газеты пестрели аршинными заголовками «Застрелен наш еврейский соотечественник!» и «Ненависть к евреям привела к гнусному убийству!». Соответственно и подпись к вырезанной газетной фотографии гласила: «Жертва нового антисемитского преступления».

Таким образом, при моем первом визите в тюрьму для несовершеннолетних – довольно ветхое здание, давно созревшее для сноса, – в моем нагрудном кармане находилась газетная фотография Вольфганга Штремплина. Конни даже поблагодарил меня, когда я пододвинул к нему вдвое сложенный листочек. Он разглядел его, улыбнулся. Разговор шел с запинками, но, главное, сын говорил со мной. Мы сидели в комнате для посетителей друг напротив друга; за остальными столиками тоже проходили свидания.

Поскольку мне запрещено вторгаться в мысли моего сына, скажу лишь, что по отношению к отцу он вновь проявлял обычную замкнутость, но от себя не отталкивал. Даже удостоил меня вопроса о моей журналистской работе. Когда я рассказал о шотландском исследователе, который клонировал овечку Долли, Конни опять улыбнулся. «Маме это наверняка будет любопытно. Она ведь все объясняет генами, особенно когда речь идет о моих».

Я услышал, что в тюремной комнате отдыха можно поиграть в настольный теннис, а камеру Конни делит с тремя другими подростками: «С законом ребята не ладят, но вообще-то довольно безобидные». У него есть собственный уголок со столом и книжной полкой. Возможна заочная учеба. «Каков прогресс! – воскликнул он. – Буду сдавать экзамены на аттестат зрелости за тюремными стенами, так сказать в затворничестве». Мне не слишком понравилось его желание острить.

Когда я уходил, на смену мне появилась Роза, уже заплаканная, вся в черном, будто у нее траур. Посетительский день, одни приходят, другие уходят, всхлипывающие матери, смущенные отцы. Надзиратель, проверявший передачи довольно небрежно, пропустил фотографию Вольфганга, называвшего себя Давидом. У Конни до меня наверняка побывала мать, вероятно, вместе с Габриэлей; или, может, они навестили его по очереди?

Летело время. Я перестал кормить газетной бумагой чудо-овечку Долли, на смену ей подоспели другие сенсации. Почти незаметно и бесшумно закончилась одна из моих мимолетных интрижек, на сей раз это была специалистка по фото, которая интересовалась формированием облаков. На очереди в моем календаре вновь оказался посетительский день.

Едва мы уселись напротив, сын принялся рассказывать, что изготовил в тюремной мастерской несколько рамок, поместил туда под стекло фотографии, которые висят теперь над его книжной полкой: «Есть среди них, конечно, и фотография Давида». По его просьбе мать принесла еще две фотографии с его прежнего сервера, которые теперь также находятся в рамках под стеклом. Это два портрета капитана третьего ранга Александра Маринеско, хотя, как уверяет сын, между портретами нет никакого сходства. Он скачал их из Интернета. Два поклонника Маринеско, опубликовавшие каждый из портретов на своих сайтах, утверждали, что именно их портрет является настоящим. «Дурацкий спор», – сказал Конни и вытащил из-под своего неизменного норвежского пуловера две фотографии, помещенные в рамки, как это делается с семейными реликвиями.

Он деловито пояснил: «Вот эта фотография, где у него лицо округлое и где он снят возле перископа, находится в музее военно-морского флота в Петербурге. А здесь лицо угловатое, он стоит на башне своей подлодки – это и есть настоящий Маринеско. По крайней мере, существуют письменные свидетельства о том, что оригинал фотографии он подарил финской шлюхе, которая не раз обслуживала его. Ведь командир подлодки С-13 был заядлым бабником. Интересно, что остается после людей такого пошиба...»

Мой сын еще долго рассказывал о своей маленькой галерее, куда входил также один ранний и один более поздний фотопортрет Давида Франкфуртера; на позднем он выглядел старым, и к тому же было видно, что он вновь пристрастился к табаку. Одного портрета не хватало. Я уж было возлелеял надежду, однако Конни, словно способный читать отцовские мысли, сказал, что начальство запретило ему использовать в качестве настенных декораций для камеры «очень качественную фотографию Мученика, снятого в форме».

Чаще всего его навещала мать, по крайней мере чаще, чем я. Габи нередко ссылалась на занятость профсоюзными делами, поскольку вела общественную работу в секции «Воспитание и наука». Да, а что касается Розы, то она приходила довольно регулярно и уже не с заплаканными глазами. В этот год мне пришлось столкнуться с весьма шумной избирательной кампанией³³, которая началась очень рано и охватила всю страну, то есть, как и остальная журналистская братия, я пытался гадать на кофейной гуще постоянных социологических опросов; от криков же толку было в содержательном отношении еще меньше. Во всяком случае, можно было угадать, что этот святоша Хинце со своей пропагандистской затеей против «красных носков» лишь сыграет на руку ПДС, но не спасет Толстяка³⁴, который потом действительно проиграл на выборах. Мне приходилось много разъезжать, интервьюировать депутатов бундестага и – хотя и не самых крупных – предпринимателей, даже нескольких республиканцев³⁵, поскольку предсказывалось, что правые радикалы получают больше пяти процентов. В земле Мекленбург – Передняя Померания они проявляли особую активность, правда с весьма умеренным успехом.

В Нойштрелиц выбираться не удавалось, по телефону я узнал от матери, что дела у ее Конрадхена идут неплохо. Даже поправился слегка. Кроме того, он получил, как она выразилась, «повышение», поскольку стал вести компьютерные курсы для несовершеннолетних правонарушителей. «Сам знаешь, в этой области он всегда был докой...»

Я представил себе, как мой – ныне потолстевший – сын помогает сотоварищам по заключению освоить компьютерную грамотность, исходя, впрочем, из того, что доступ в Интернет им не разрешен; в противном случае кое-кто из заключенных сумел бы под руководством сетевого корифея Конрада Покрифке найти виртуальную лазейку и устроить коллективный побег в киберпространство.

Узнал я и о том, что нойштрелицкая команда по настольному теннису, в которую входил мой сын, выступила против сборной тюремного заведения для несовершеннолетних в Плётцензее и обыграла ее. Короче: объявленный судебным приговором убийцей и теперь уже достигший совершеннолетия сын весьма занятого журналиста проявлял удивительное прилежание. К началу лета он заочно сдал экзамены на аттестат зрелости с хорошими и отличными оценками; я послал телеграмму: «Поздравляю, Конни!»

А потом пришла весточка от матери: она больше недели провела в польском Гданьске. При следующем визите в Шверин я услышал ее рассказ о поездке: «В Данциге я, конечно, много чего обошла, но дольше всего была в Лангфуре. Там все переменилось. Зато дом на Эльзенштрассе до сих пор стоит. Даже балконы с цветочными ящиками сохранились...»

Это путешествие она совершила на туристическом автобусе. «Вышло совсем дешево!» Группа бывших беженцев, мужчины и женщины в возрасте матери или постарше, откликнулась на предложение одного турагентства, которое устраивало «ностальгические путешествия». Мать сказала: «Хорошо там было. Надо признать, что поляки многое восстановили, все церкви и прочее. Нету только больше памятника Гутенбергу, которого мы в детстве называли Куттенпех и который стоял в Йешкентальском лесу, сразу за горой Эрбсберг. А вот в Брезене, куда мы ездили кататься на санках, опять открылась настоящая купальня, совсем как раньше...»

33

34

35

За этим последовал ее отсутствующий взгляд. Но вскоре опять заиграла старая заезженная пластинка: о том, как все было раньше, давным-давно, во дворе столярной мастерской или в лесу, где лепили снеговика; что было летом в морских купальнях, «когда я девчонкой-сорванцом...» С компанией мальчишек она заплывала к остову затонувшего корабля, надстройки которого торчали из воды с начала войны. «Мы ныряли на самую глубину, залезали в трюмы той ржавой посуды. А один из ребят нырял глубже всех, Йохеном его звали...»

Я забыл спросить мать, не находилась ли среди ее багажа во время ностальгического путешествия, несмотря на летнюю погоду, ее треклятая лиса. Зато поинтересовался, не побывала ли в Данциге-Лангфуре и тетя Йенни. «Нет, – сказала мать, – она с нами не поехала. Дескать, ногам тяжело, да и вообще не захотела. Побоялась сильных переживаний. Зато я сама несколько раз прошлась по тем улицам, по которым мы тогда обычно ходили с моей подружкой в школу. Теперь мне этот путь показался намного короче...»

Сразу после возвращения она, видимо, поделилась свежими впечатлениями с моим сыном, поведала ему гораздо больше подробностей, чем мне, и даже шепотом призналась: «В Готенхафен я тоже съездила, одна. Была на том месте, где шла посадка на корабль. А потом представила себе деток, как они плавали в ледяной воде головками вниз. Поплакать хотела, да не смогла...» И опять ее отсутствующий взгляд. Затем она опять заговорила о лайнере СЧР: «А ведь до чего хорош был корабль...»

Неудивительно, что при моем следующем посещении Нойштрелица, которое состоялось сразу после выборов в бундестаг, сын продемонстрировал мне итог кропотливейшей работы. Это была модель, собранная из деталей специального конструктора, который он получил в подарок, оплаченный наверняка из кошелька моей матери.

Такие конструкторы продаются в универмагах, в отделах игрушек, где на полках выставлен богатый ассортимент моделей, воспроизводящих самые знаменитые прототипы всего того, что некогда летало, плавало и ездило. Не думаю, что покупка совершалась в Шверине. Скорее ее искали и нашли либо в гамбургском универмаге «Альстерхаус», либо в берлинском «КаДеВе». В Берлин мать навещалась часто. Сейчас она приобрела себе «гольф», много времени проводит за рулем, причем ездит весьма рискованно; мать всегда идет на обгон из принципа.

Раньше, когда она приезжала в Берлин, то совсем не затем, чтобы погостить у меня, в моей холостяцкой квартире в Кройцберге, где вечно царил хаос, а чтобы навестить свою подругу Йенни и «поболтать о старых временах», выпить по бокалу знаменитого во времена ГДР шампанского «Красная шапочка», к которому подавалось песочное печенье. После «бархатной революции» они виделись часто, будто старались наверстать упущенное за долгие годы существования Стены. Они были особенной парочкой.

Когда мать навещала тетю Йенни – а мне доводилось присутствовать при их встречах, – то вела она себя робко, словно маленькая девочка, которая недавно набедокурила. Словно хотела искупить вину. Тетя Йенни, напротив, простила, видимо, все то зло, которое было причинено ей много лет назад. Я заметил, как, хромая, она подходила к матери, гладила ее по плечу. «Ну будет, Тулла, будет», – шептала она. Потом обе молчали. Тетя Йенни пила свой горячий чай с лимоном. Кроме утонувшего брата Конрада и совершившего преступление Конни, мать если и любила вообще кого-нибудь, то свою школьную подругу.

В шестидесятые годы я жил в мансардной комнатухе в берлинском районе Шмаргендорф, с тех пор там ничего не изменилось. Множество расставленных всюду фарфоровых безделушек выглядят ужасно старомодно, хотя пыль с них аккуратно стирают. Все стены у тети Йенни, включая косую мансардную стену, обклеены балетными фотографиями, которые запечатлели ее, тонкую, как былинка, выступающей под псевдонимом Ангустри в роли Жизели и Коппелии, танцующей в «Лебедином озере», исполняющей сольные партии или снятой со своим таким же грациозным балетмейстером;

вот и мать словно вся обклеена изнутри воспоминаниями. Если правда, что воспоминаниями можно обмениваться, то квартирка на Карлсбадерштрассе служит обменным пунктом для подобных предметов самого длительного пользования.

Вероятно, во время одной из своих поездок в Берлин – до визита к тете Йенни или после – мать и наведлась в «КаДеВе», где отыскала среди огромного ассортимента различных конструкторов то, что хотела. Но для подарка ей не подошла ни модель гидроаэроплана «До Х» фирмы Дорнье, ни танк «Королевский тигр», ни линкор «Бисмарк», который был потоплен уже в сорок первом году, ни тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер», который пошел на металлолом после войны. Она не желала ничего военного, выбор ее остановился на пассажирском лайнере «Вильгельм Густлофф». Наверно, она даже ни с кем не консультировалась, мать всегда сама хорошо знала, чего хочет.

Судя по всему, сын подал заявку на то, чтобы принести в посетительскую комнату необычный предмет, и получил разрешение. Во всяком случае, надзиратель благожелательно кивнул, когда заключенный Конрад Покрифке появился с громоздкой моделью корабля в руках. При виде этой модели невольно стал разматываться клубок старых мыслей, чтобы опять запутаться. Неужели этому не будет конца? Неужели старая история повторится сначала? Неужели мать не может остановиться? О чем она только думала?

Однако Конни, ставшему уже совершеннолетним, я сказал: «Недурно. Но разве ты уже не вырос из подобных игр?» Он даже согласился: «Сам знаю. Вот если бы ты подарил мне „Густлоффа“ лет в тринадцать или четырнадцать, тогда мне не пришлось бы теперь впадать в детство. В общем, было занятно. Да и времени у меня хоть отбавляй».

Упрек попал в цель. Пока я его переваривал и задавался вопросом, не удержал ли бы я моего сына от худшего, если бы в свое время он занялся всего лишь сборкой модели этого треклятого корабля, да еще под отцовским присмотром, он сказал: «Попросил у бабушки Туллы в подарок. Хотел наглядно представить себе, как выглядел лайнер. Неплохо получилось, а?»

Лайнер СЧР во всей красе от носа до кормы! Бесклассовый корабль, мечта отпускников, собранный моим сыном из множества деталей. Просторная солнечная палуба, освобожденная от каких-либо мешающих надстроек. Как элегантно смотрелась в средней части труба, слегка склоненная назад! А застекленная прогулочная палуба! Под командным мостиком зимний сад, прозванный «оранжереей». Я прикинул, где на нижней палубе должен был находиться бассейн, пересчитал спасательные шлюпки: все до единой на месте.

Конни соорудил в качестве подставки для белоснежного лайнера специальную проволочную конструкцию. Она не закрывала корпус корабля, включая киль. Пусть не без некоторой иронии, я выразил восхищение кропотливой работой. Сын отреагировал на комплименты смущенной усмешкой, вытащил из кармана коробочку, где, как оказалось, лежали три красные наклейки величиной с небольшую монетку. Этими наклейками он отметил на корпусе те места, куда попали торпеды: одна метка пришлась на носовую часть левого борта, следующая приклеилась туда, где внутри корабля предполагался бассейн, а третья метка предназначалась для машинного отделения. Конни производил свои манипуляции с торжественным выражением лица. Он стигматизировал корабль. Закончив операцию, остался, судя по всему, доволен, сказал: «Тонкая работа!», после чего резко сменил тему.

Моего сына интересовало, за кого я голосовал на выборах в бундестаг. Я ответил: «Во всяком случае не за республиканцев!» – и признался, что уже несколько лет ничто не может заманить меня на избирательный участок. «Стало быть, настоящие убеждения отсутствуют, весьма характерно для тебя», – заметил он, однако не сообщил, за кого голосовал письмом он сам на своих первых выборах. Я высказал предположение, что под влиянием бабки он сделал выбор в пользу ПДС. Но Конни только улыбнулся и принялся укреплять на лайнере, – на носу, корме и обеих мачтах, – видимо, самодельные флажки, которые достал из другой коробочки. Он изготовил даже миниатюрную эмблему СЧР и знамя Германского трудового

фронта; не забыта была и свастика. Корабль под всеми флагами. Полный порядок. Только с ним самим опять было в порядке далеко не все.

Что делать, если сын прочитывает запрещенные, находящиеся годами под домашним арестом мысли отца, неожиданно делает их своими собственными и даже превращает их в поступки? Я всегда по крайней мере старался соблюдать политическую лояльность, не делать больших ошибок, вести себя корректно. Это называется самодисциплиной. Работал ли я в газете Шпрингера или в «taz», я неизменно пел по чьим-то нотам. Даже в общем-то верил в то, что писал. Раздувать пожар и цинично приспособливаться к победителю – вот две вещи, с которыми я поочередно справлялся лучше всего. Только я никогда не становился острием копья, не я задавал курс в газетных передовицах. Это делали другие. Я же предпочитал держаться середины, старался не слишком скатываться ни вправо, ни влево, избегал столкновений, плыл по течению, держался на плаву; возможно, это было связано с обстоятельствами моего появления на свет – впрочем, так можно объяснить что угодно.

И вдруг эскапады сына. Собственно, удивляться тут нечему. Этого следовало ожидать. Ведь все, что Конни публиковал в Сети, о чем он болтал в чате, что пропагандировал на своем сервере, было в конечном счете не менее убийственно, чем те выстрелы, которые прозвучали на берегу Шверинского озера. И вот теперь он сидел в тюрьме для несовершеннолетних, пользовался авторитетом благодаря победам в настольном теннисе и своему руководству компьютерными курсами, мог гордиться хорошим аттестатом зрелости, даже получил, как шепнула мне мать, ряд интересных предложений от некоторых предпринимателей: речь шла о работе, связанной с новыми электронными технологиями. Похоже, он видел для себя будущее в новом веке, выглядел бодрым, говорил довольно разумные вещи, продолжал держать свое знамя, пусть даже в виде маленьких флажков. «Все это плохо кончится», – сумбурно думал я и стал искать, к кому обратиться за советом.

Пребывая в полном замешательстве, я начал с тети Йенни. Старая дама, слегка подрагивая головой, внимательно выслушала в своей игрушечной квартирке все, о чем я более или менее искренне поведал ей. С ней можно было выговориться. К подобного рода откровениям она привыкла, видимо, с юных лет. После того как я прокрутил мою шарманку, она, явив свою примерзшую к губам улыбку, сказала: «Это скверна ищет выхода наружу. У твоей матери Туллы, подруги моих детских лет, такая же проблема. Как часто, будучи ребенком, я страдала от ее выходок. И мой приемный отец, удочеривший меня – а ведь, говорят, я чистокровная цыганка, что было тогда большим секретом, – этот чудаковатый штудиенрат Бруннис, фамилию которого я теперь ношу, тоже пострадал от Туллы. С ее стороны это было всего лишь озорством. Только кончилось оно плохо... По ее доносу папу Брунни забрали... Он попал в концлагерь Штутхоф... Правда, потом с Туллой почти все поправилось. Ты бы поговорил с ней о своих проблемах. Тулла на собственном примере знает, до чего сильно способен измениться человек...»

Итак, я махнул из Берлина по магистрали А-24 До развилки, где повернул на Шверин. Да-да, состоялся разговор с матерью, насколько с ней вообще можно говорить о моих размышлениях, вечно расходящихся с ее мнением. Мы сидели на балконе одиннадцатого этажа отремонтированного панельного здания по адресу Гагаринштрассе. с балкона открывался вид на телевизионную вышку; внизу все еще стоял бронзовый Ленин, устремивший свой взор на Запад. В квартире ничего не изменилось, хотя за последнее время мать вновь вернулась к вере своих детских лет. Она сделала католичкой, устроила в уголке гостиной подобие домашнего алтаря, где между свечами и искусственными цветами – белыми лилиями – стояли иконки Девы Марии, а рядом в странном соседстве находился портрет товарища Сталина в белом кителе, мирно покуривающего свою трубку. Пялиться на алтарь и ничего не говорить было трудно.

Я принес матери ее любимые лакомства – миндальное пирожное и маковый рулет. Едва я уселся, не зная, с чего начать, она сказала: «За нашего Конрадхена особо не беспокойся.

Пусть отсидит свое за то, что натворил. Когда выйдет, станет настоящим радикалом, какой я была когда-то, когда мои же товарищи по партии обзывали меня единственной Правовой сталинисткой. Ничего страшного с ним больше не случится. Над нашим Конрадхеном всегда парил ангел-хранитель...»

Последовал «отсутствующий взгляд», потом этот взгляд сделался вполне нормальным, и она подтвердила слова своей подруги Йенни, которая опять обнаружила верное чутье: «То, что у нас в голове, внутри таится, вся скверна должна выйти наружу...»

Нет, от матери в этом деле совета ждать не приходится. Ум у нее короткий, как ее белые волосы, Так к кому же обратиться? Может, к Габи?

Я вновь отправился по уже привычному маршруту из Шверина в Мёльн, где меня, как всякий раз, когда я приезжал сюда, поразила скромная прелесть этого городка, история которого связана с Тилем Уленшпигелем, чьи проделки вряд ли пришлись бы нынешним горожанам по вкусу. У моей бывшей благоверной теперь завелся друг, по ее словам, «очень милый, деликатный и ранимый человек», поэтому мы встретились с ней в соседнем Ратцебурге, чтобы отобедать – она заказала вегетарианское блюдо, я шницель – в ресторане «Зеехоф» с видом на озеро с его лебедями, утками и неутомимым нырком.

Предварив разговор фразой «Видит Бог, я не хочу тебя обидеть» и возложив затем на меня всю ответственность за произошедшее с сыном, она сказала: «Сам знаешь, я уже давно не могу достучаться до него. Он замыкается. Он просто невосприимчив к проявлениям любви и подобным вещам. Сейчас я пришла к убеждению, что он вконец испорчен до самого нутра, до самого мозга костей. Достаточно взглянуть на твою мать, чтобы догадаться, какое наследство он мог получить от нее через её сынка. И тут уже ничего не изменишь. Кстати, во время моего последнего посещения твой сын отказался от меня».

По ее намекам, она собиралась начать новую жизнь со своим другом, «добросердным, умным и вполне нормальным человеком». Она, дескать, «заслужила этот шанс» после всего, что ей пришлось пережить. «Представь себе, Пауль, я наконец даже нашла в себе силы бросить курить». От десерта мы отказались. Проявив чуткость, я не стал доставать сигарету. Бывшая супруга настояла на том, чтобы каждый расплатился за себя.

Попытка переговорить с Розы, преданной подружкой моего сына, хотя и представляется мне задним числом смешной, однако кое-что она мне прояснила в дальнейших событиях. Уже на следующий день, который совпал с посетительским днем, мы встретились с ней в одном из кафе Нойштрелица сразу после того, как она повидалась с Конни. Глаза ее уже не были заплаканы. Распущенные волосы она теперь собрала в пучок. Ее постоянная готовность к самопожертвованию сочеталась с внешней собранностью. Даже руки, которые раньше тщетно пытались найти себе место, теперь спокойно лежали на столе, кулачки были сжаты. Она сказала: «Что вы будете делать как отец – это ваша проблема. Я же всегда знала, что Конни хороший, и не разуверюсь в нем, что бы ни произошло; он очень сильный, с его силы нужно брать пример. Не я одна твердо, очень твердо верю в него, причем речь идет не только о его взглядах».

Я согласился с тем, что в Конни есть хорошая основа. Я, мол, и сам верю в это. Мне хотелось сказать больше, но прозвучали слова, как бы завершавшие разговор: «Зло не в нем, а в самом нашем мире». Но тут подошло время подавать заявку на мое посещение тюрьмы для несовершеннолетних.

Мне впервые разрешили посетить его камеру. Было сказано, что за хорошее поведение и образцовую социальную активность для Конрада Покрифке сделано исключение. Его сокамерники отсутствовали; они, как мне пояснили, работали в саду. Конни ожидал меня в своем уголке.

Тюрьма была довольно ветхим сооружением, но, по слухам, сейчас разрабатывался проект современного здания. Я вроде бы подготовился к любым неожиданностям, но все-таки опасался от сына каких-либо сюрпризов.

Войдя, я увидел поначалу только заляпанные стены; он сидел за столом в своем норвежском пуловере, сказал, не поднимая глаз: «Ну что, папа?»

Неопределенным жестом сын, вдруг назвавший меня «папой», указал на книжную полку, рядом с которой – чего я не заметил сразу – было пусто, исчезли все заключенные в рамки фотографии: снимок Вольфганга, называвшего себя Давидом, оба портрета молодого и старого Франкфуртера, обе фотографии, приписываемые командиру подлодки Маринеско. Я пробежал глазами по корешкам книг на полке: как и следовало ожидать, много истории, кое-что о новых электронных технологиях и между ними два томика Кафки.

Насчет исчезнувших фотографий я ничего не сказал. Да и он, похоже, не ожидал никаких комментариев. То, что потом случилось, произошло очень быстро. Конрад встал, снял помеченную тремя красными наклейками модель лайнера «Вильгельм Густлофф» с проволочной подставки, которая находилась посреди стола, положил его на левый борт и начал, причем не лихорадочно или яростно, а скорее размеренно и планомерно, крушить голым кулаком результат своего кропотливого труда.

Наверное, ему было больно. После четырех-пяти ударов на правой руке появилась кровь. Должно быть, поранился о трубу, спасательные шлюпки и обе мачты. Но он продолжал бить кулаком по корпусу лайнера. А тот будто не поддавался, тогда сын взял поврежденный корпус двумя руками, поднял на уровень глаз, размахнулся и швырнул его на проолифленные половицы. Затем он растоптал ногами то, что осталось от корабля, не пощадил даже спасательных шлюпок, выскочивших из креплений.

«Доволен, папа?» Потом – ни слова. Его взгляд скользнул к зарешеченному окну, уперся в решетку. Я что-то говорил ему, нес какую-то околесицу. Что-то ободряющее. «Нельзя сдаваться» или «Давай попробуем начать все сначала», какие-то фразы, заимствованные из американских фильмов: «Я горжусь тобой, сынок». Даже когда я уходил, у него не нашлось для меня ни единого слова.

Спустя несколько дней, нет, это было уже на следующий день, мой Заказчик, по заданию которого я двигался траекторией краба, настойчиво попросил меня порыскать по Сети. Дескать, нужно найти там что-нибудь подходящее для финала. До этих пор я воздерживался от блужданий по Паутине, смотрел лишь то, что нужно было по работе, иногда поглядывал порнуху, вот и все. С тех пор как Конни посадили, споры в Интернете прекратились. Ведь Давида тоже не было.

Искать пришлось долго. Правда, имя треклятого корабля появлялось на мониторе часто, но не попадалось ничего нового, ничего похожего на финал. А потом вдруг выскочило нечто такое, чего я даже не опасался увидеть. Особый сервер на немецком и английском языке с адресом «Соратничество имени Конрада Покрифке» – www.kameradschaft-konrad-pokrifke.de – агитировал поддержать того, кто служит образцом идейной стойкости, за что и брошен в тюрьму ненавистной системой. «Мы верим в Тебя, мы ждем Тебя, мы идем за Тобой...» И так далее и так далее.

Никогда этому не будет конца. Никогда.